
Александр ЛАСКИН

БЕЛЫЕ ВОРОНЫ, ЧЕРНЫЕ ОВЦЫ

Повесть-воспоминание
в пяти странах, одном театре,
а также шести отступлениях
и трех интермедиях

ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Место действия

Сперва поищем сравнение. Должно быть что-то, что вместит страну целиком? Может, это любимая шотландцами клетчатая ткань? Та самая, из которой шьют мужские юбки-килты.

Приглядитесь к этим квадратам, и вы почувствуете ритм. Этот ритм есть и в здешних пейзажах. В перепадах от лесов к холмам и от холмов к полям.

Есть страны, которые, кажется, создавались разными мастерами. Один придумал поля, другой трудился над лесами... В Шотландии чувствуется одна рука. На какие бы расстояния ты ни удалялся, повсюду узнаешь его работу.

Он, творец этих мест, создатель взлетов вверх и опусканий в низины, презирал бытовую логику. Никакой прагматики нет в том, что столько пространства отдано холмам и небу. Иначе говоря, красоте.

Шотландию населяют пять миллионов человек, а это почти столько же, сколько живет в Петербурге. Зато простора тут несравнимо больше. Сразу представляешь прогулки верхом со стоянками на полянах. Или пещеры, где можно спрятаться, чтобы внезапно ошарашить противника.

Александр Семенович Ласкин родился в 1955 году. Историк, прозаик, доктор культурологии, профессор Санкт-Петербургского института культуры. Автор 16 книг (вместе с переизданиями), в том числе: «Ангел, летящий на велосипеде» (СПб., 2002), «Долгое путешествие с Дягилевыми» (Екатеринбург, 2003), «Гоголь-моголь» (М., 2006), «Время, назад!» (М., 2008), «Дом горит, часы идут» (СПб., 2012; 2-е изд. Житомир, 2012), «Дягилев и...» (М., 2013), «Петербургские тени» (СПб., 2017), «Мой друг Трумпельдор» (М., 2017). Составитель, автор пояснительного текста книги «С. Ласкин. Одиночество контактного человека. Дневники 1953–1998 гг.» (М., 2019). Печатается в журналах «Нева», «Звезда», «Знамя», «Крещатик», «Ballet Review», «22», «Иерусалимский журнал» и др. Автор сценария документального фильма «Новый год в конце века» («Ленфильм», 2000). Лауреат Царскосельской премии (1993), премий журналов «Звезда» (2001), «Нева» (2017) и др. Финалист премии «Северная Пальмира» (2001) и премии Шолом-Алейхема (Украина) (2015). Живет в Санкт-Петербурге.

Вряд ли здешний автор создаст что-то в духе Достоевского. Ну, там — небольшие клетушки, огромные долги, воспаленные глаза... А вот исторические романы (в каждом — по несколько королей и немерено мяса на вертеле) тут пишутся легко.

Как получилось, что люди заселили города, но не претендовали на большее? Столько места отдали чистому лицемерию. В 1935 году это положение закрепили в так называемых «Принципах Унна»: известный альпинист Перси Унн купил земли для Национального фонда при условии сохранения их первозданного облика.

Вот чем защищены эти места. Они пребывают вроде как в вечности — сейчас холмы вижу я, но на них же смотрел Вальтер Скотт.

Есть еще одно. Шотландцы наделяют природу едва ли не человеческими качествами. Например, у других народов лес стоит, а у них идет. Так, Бирнамский лес, подстрекаемый ведьмами, двинулся на Макбета.

Почему же памятники стоят на месте?

Странно, что деревья могут идти, а скульптуры нет. Как было бы хорошо, если бы Вальтер Скотт в Эдинбурге вставал во весь рост, а собака у его ног приветствовала прохожих лаем и поднятыми ушами.

Кстати, и в Питере размышляли об этом. На улице Правды скульптор Дмитрий Каминкер поставил на колеса своего Глашатая. Вот бы он покричал в рупор и переправился в другое место! Так, глядишь, за пару лет переагитировал весь район.

Видно, у тех, от кого это зависит, не хватило энергии, и скульптура стоит, как стояла. Впрочем, в любой момент это может произойти. Надо только взяться за ручку, приделанную к платформе, и отправиться в путь.

Прибавим, что в Пушкине во время карнавала приодели Ленина на Соборной площади. Сколько лет он стоял в своем железном костюме, как вдруг предстал в развевающемся плаще. Рука вытянута вперед, словно он говорит: переоденьтесь, товарищи! смените скучную одежду на красивую и яркую!

Вряд ли до Глазго дошли вести об этих метаморфозах, но тут тоже поспорили с данностью. Для примера выбрали конный памятник Веллингтону перед Музеем современного искусства. К победителю Наполеона у шотландцев давно есть вопросы: почему — ирландец? Ну а если ирландец, то зачем его чествовать далеко от родины?

В наше время эти разговоры воплотились в акцию. Молодые недоброжелатели Веллингтона надели на него дурацкий колпак — вернее, полицейский конус. Такие конусы выставляют тогда, когда ограничивают движение по улице. Сейчас это тоже выглядело как предупреждение: осторожно, маршал! Замедлите шаг и удивитесь!

Оказалось, эта акция навсегда. Так и стоит Веллингтон в полосатом конусе (хорошо, не в полосатой рубашке!) и развлекает туристов. Ну а местные уже не помнят его другим. Даже на открытках он при всем параде — колпак сползает набок, и это придает ему еще больше лихости.

Конечно, и от Веллингтона хочется чего-то особенного. Вот бы он сам надевал колпак! Это выглядело бы самокритично. К тому же этим жестом он соединял бы разные времена.

К сожалению, герцог стоит как вкопанный. Да и другие монументы не продвинулись. Лишь в начале девяностых что-то стало меняться после того, как в Шотландию приехал скульптор Эдуард Берсудский.

Дело в том, что у Берсудского не просто скульптуры, а скульптуры кинетические. Он не только создает образ, но рассказывает истории. Загорается свет, силой невидимого мотора начинается движение... Так в булгаковской «волшебной камере» фигурки оживают для представления и игры.

Вот хотя бы его Шарманщик. Все как полагается: сапог отбивает ритм, звучит песня о разлуке, рядом вертится обезьянка. Правда, сам шарманщик какой-то не такой. Весь в щетине, да еще с рогами, как фавн.

Шарманщик не только извлекает мелодию, но запускает ту самую «вертушку роковых событий», о которой сказано в стихах Арсения Тарковского. Иначе почему он похож на лешего? Ясно, что это почти лесное существо обладает не только человеческими возможностями.

Называется работа «Автопортрет». Значит, Берсудский добровольно причислил себя к племени полулюдей-получертей. Наверное, художника не бывает без чего-то эдакого. Ведь он имеет дело не только с реальностью, но и с тем, что находится вне ее.

Опять, автор, спешишь? Ты ведь не упомянул, что понятие «кинетическая скульптура» Берсудский и его жена Татьяна Жаковская сократили до «кинематов». Это вроде как домашнее имя его произведений. Все равно что «Александр» — и «Саша».

Что сказать прежде всего? Кинематы не ограничиваются чем-то одним. Ни позой, ни жестом, ни материалом. Обычно скульптуры создают из металла или дерева, а Берсудский творит из всего. В ход идут старая швейная машинка и патефон... Плюс еще сто предметов, которые давно не используются, но тут оказались незаменимы.

Кстати, в начале девяностых, когда «шарманщики» решили уехать, за столом у моей приятельницы шел такой разговор:

— Что Берсудскому делать без старых патефонов, утюгов и вообще всего, что можно найти на наших помойках!

Помните стихи Ахматовой, в которых она спрашивает: «Когда б вы знали, из какого сора...», а дальше перечисляет: «желтый одуванчик у забора», «лопухи и лебеда» — и по этим приметам сразу узнается Карельский перешеек? Так вот на пластинке Анна Андреевна читает их не иронически, а торжественно. Словно речь о чем-то столь же значимом, как скипетр и держава.

Это я к тому, что, говоря об утюгах и прочем хламе, никто не ухмыльнулся. Все понимали важность и незаменимость этого строительного материала.

Собрание кинематов получило название театра «Шарманка». О том, что происходит на его спектаклях, мы еще будем говорить, а пока поспорим с тем, что это «театр». Правда, и выставкой детище Берсудского и Жаковской может считаться с натяжкой.

Все-таки спектакля не бывает без драматургии. Если что и связывает кинематы, то принадлежность к одному художественному миру. Назвать же это выставкой мешает то, что экспонаты существуют не только тогда, когда на них смотрят. Здесь же все начинается с того, что вы пришли. Тут фигурки выходят из тени и вступают в игру.

Конечно, не Берсудский придумал «кинетическое искусство». Он только присоединился. Правда, прежде это была вотчина абстракционистов. Что-то колыхалось, крутилось, расцветивалось, но историй никто не рассказывал.

Может, дело в его российском происхождении? Наверное, потому у нас редко абстракционисты, что мы не любим говорить в общем. Только с подробностями. Ведь жизнь состоит из стольких мотивировок! Если что-то пропустишь, то картина предстанет смазанной.

Кстати, почему «Шарманка»? Возможно, шарманка — самый философский из музыкальных инструментов. Ее мелодии говорят о том, что все повторяется. Что так будет не сто, не двести раз, а всегда.

С помощью шарманки можно уйти вперед, но и вернуться назад. Сейчас мы это продемонстрируем. Повернем ручку и окажемся даже не в начале нашего повествования, а в начале жизни Берсудского, в Ленинграде шестидесятых — семидесятых.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. В ЛЕНИНГРАДЕ

Начало и утопия

Если кинетическую скульптуру именуют кинематами, то Берсудского и Жаковскую мы будем называть Эдом и Таней. Читатели с ними уже познакомились, а когда я впервые пересекся с Таней, уже и не вспомнить. Подробности теряются во тьме времен.

Любой период биографии Берсудского тянет на повесть. По крайней мере, вкратце его точно не рассказать. Сразу потянется ниточка, а еще не одна.

Начнем с того, что операторами котельной кто только не работал, а шкипером был только Эд. Можно назвать еще пять его профессий. На одном месте он не засиживался. Попробует что-то и приступает опять. Вроде как тот ребенок, который утоляет голод, отщипнув от всего, что стоит на столе.

Поначалу он не думал о кинематике. Скульптуры резал, но лишь в свободное время. Ну а сколько такого времени у того же шкипера или водителя самосвала? Большую часть дня отдаешь службе, а вечерами творишь.

Вот уж чего я не мог представить, что в шотландском доме моих друзей сохранилось что-то от тех лет. Больно давно это было. Да и ощущение своей биографии у Эда тогда не проснулось. Жизнь просто текла, не очерчивая вех и не образуя этапов.

Тем удивительней, что нашелся ватманский лист, на котором корявыми буквами написано: «Молния! Комитет ВЛКСМ объединения постановил: комсомольцев Поверинова В. и Берсудского Э. из членов ВЛКСМ исключить!»

Именно так — с восклицательным знаком. Словно не сдерживая радости от предвкушения расправы.

Вот что пригодится для музея. Пока не для музея Берсудского, а для музея, посвященного жизни в семидесятые годы. Так и вижу это объявление в рамочке на стене. Экскурсовод тычет указкой и говорит, что двое этих рабочих были частью системы, а вдруг их оттуда выбросили.

Эд уже не помнит почему. Возможно, он не платил членские взносы и так ослаблял комсомольскую организацию. Не исключено, что дело проще. Они просто подумали: «Зачем нам такой?» — и, надо сказать, не ошиблись.

Вряд ли он сильно переживал. Если для кого-то исключение — катастрофа (интересно, как сложилась судьба В. Поверинова?), то к его всегдашнему чувству изгойства это ничего не добавляло. К тому же он ни на что не претендовал. Моряком или слесарем возьмут и без билета. Хватит того, что у него золотые руки.

Что касается искусства, то тут все было сложно. По правилам того времени художником не рождаются, а становятся. Хочешь рисовать и лепить — получи диплом. Кстати, Эд не то чтобы не хотел учиться. Просто он все делал, как чувствовал, а преподавателям требовалось, как полагается. Вот его и притормаживали. Уж очень он самостоятелен и не похож на ученика.

Единственное образование, которым вскоре он обзавелся, это Энергетический техникум. Вот так бывает: идешь туда — не знаешь куда, а именно это оказывается самым важным. Что бы он делал, если бы не знал основ механики? Как бы он заставил лошадь вращать хвостом, а шарманщика крутить ручку?

Все это еще впереди. Пока главное событие — приглашение в садово-парковое хозяйство. Причем на каких условиях! Тут ему предлагали не шоферить, а резать скульптуры.

За то, что занимаешься любимым делом, не получают деньги — ведь не платят же нам за прогулки по лесу. Его новая работа не только предполагала зарплату, но га-

рантировала известность. Пусть и без упоминания имени, но в каких местах! Только представьте: в Русском музее выставлен Коненков, а в прилегающем к нему парке стоят работы Эда.

Словом, в парковом хозяйстве подули новые ветра. Девушек с веслом решили заменить кем-то более близким обитателям детских площадок. Так здесь появились его клоуны и медведи.

Хорошо скульптурам в парке. Возможно, даже лучше, чем в экспозиции. Ведь тут они существуют не сами по себе, а вместе с окружающим пространством.

Выиграли не только его работы, но он сам. Все же одно дело творить вечерами, а другое — когда захочется. Если замысел не созрел, просто ходишь по городу. Ждешь, когда из твоих мыслей что-то произрастет.

Пока скульптуры у него выходили традиционные. Они не могли сорваться с места или переменить позу. Впрочем, сейчас он переживает о том, не придется ли ему опять весь день вкалывать, а художником становиться ближе к ночи?

Такие мысли посещают и других скульпторов садово-паркового хозяйства. Среди них был и Виктор Цой. К его сомнениям относительно будущего прибавлялся вопрос о том, что правильнее — резать по дереву или петь? Выступать анонимно или от своего лица?

Первая и вторая удачи

Что если рядом с почти идолами Берсудского появится конкретный Ильич или обобщенный Строитель коммунизма? Это хотя бы потому невозможно, что Эд работал для детских площадок. У взрослых были свои герои, а у него свои.

Так — вместе с любителями песочниц и горок — он очерчивал свою территорию. Имел право сказать авторам советских памятников: посмотрим, переживут ли ваши вожди моих клоунов и лицедеев?

Как выяснилось, существует нечто страшнее идеологии. Судьбу парковых работ решили снег и дождь. Столько лет под открытым небом им оказались не под силу.

Кое-что сохранилось на фотографиях. Есть впечатления очевидцев. Среди тех, кому нравились эти работы, были не только дети, но и взрослые. В результате в одном серьезном издании об Эде вышла статья.

Вот так так. Режешь что-то для себя, не помышляешь о внимании критиков, как вдруг оказывается, что, «однажды войдя в мир, созданный Эдуардом Берсудским, уже невозможно безучастно следить за дорогой, по которой он идет, и трудно удержаться от соблазна следовать за ним».

Фраза тоже петляет. Сперва прямо, потом немного в сторону, затем поворот еще раз.

С тех пор Берсудский слышал много комплиментов, но это было впервые. Читаешь и думаешь: неужто это обо мне?

Вообще в это время Эду везло. Бывает, долго никаких событий, а тут сразу много. Причем все позитивные.

В семидесятом году он женился на студентке графического факультета института Герцена Алевтине Вороновой. Конечно, для художника важна масть. Супруга была ярко-рыжая. К тому же в ее фамилии пряталась его любимая птица.

Правда, с той хромоногой вороной, что жила у него в комнате, у Алевтины отношения не сложились. Может, она считала, что хватит ворон? Поэтому одна осталась в фамилии, а другую из дома прогнали.

Ну и в завершении всего у него появился Учитель. Именно так, с большой буквы. Впрочем, и Художник в этом случае надо писать так.

Звали Учителя и Художника Борисом Яковлевичем Воробьевым. Это он изваял практически всех животных, вышедших из стен Ломоносовского фарфорового завода.

Трудно оставаться певцом чистой пластики и работать на заказ. Воробьеву помогли его персонажи — прекрасные в каждом повороте головы и движении лап. Так что природа была за него, а он с радостью за ней следовал.

Воробьев посмотрел работы Эда и сразу что-то почувствовал. Ну а после того, как увидел первые кинематы, совсем посерьезнел.

Это не отменяло требовательности. Чем убедительней сделанное воспитанником, тем больше с него спрашиваешь.

Вообще детей и учеников Борис Яковлевич держал в строгости. Хвалил дозированно. Буквально по одному одобряющему словечку в несколько лет. Случалось, не только повысит голос, но и выгонит. Делал он так потому, что уж очень ему не хотелось показывать своей доброты.

Комплиментов Эд от него слышал столько же, сколько все. Зато с сыном Мишей Борис Яковлевич разоткровенничался. Сказал, что «этого парня когда-нибудь узнает весь мир».

Эд до сих пор не верит, что это правда. Больно не соотносятся эти слова с тогдашней реальностью. Какая может быть мировая слава, если почти никто не выставляется за границы? Ну а человек, не обремененный образованием, об этом даже не мечтает.

Нет, утверждает Миша, он запомнил точно. Все было так — и неожиданное «парень», сказанное о сорокалетнем мужчине, и обещание невиданных перспектив. Кажется, в эту минуту его отец все увидел. Сперва мир включит в себя пространство по ту сторону «железного занавеса», а остальное случится само собой.

Конец утопии и после

Пока же Эд доволен положением в садово-парковом хозяйстве. А что еще надо? От него ждут не присутствия, а вдохновения. Он много работает и при этом не сдает ключ на вахту.

Обычно утопия длится недолго. Дали возможность увидеть, как это бывает, и хватит. А то выходит нехорошо. Руководство честно протирает штаны, а подчиненные свободны как птицы.

Скульпторам установили режим не для того, чтобы больше трудились, а чтобы были скромнее. Помнили, что начальство — не Аполлон. Тот «требует... к священной жертве», когда заблагорассудится, а оно с девяти до шести. Бывает, сразу не определится, и вы ждете. Смотрите в окно или играете в «морской бой».

Это все равно что дышать только в определенное время! Что ж, люди у нас нетребовательные. Если сказано, что так правильней, то они не станут возражать. Еще поблагодарят за то, что прежде чем захлопнуть форточку, дали немного порезвиться.

Кажется, только Берсудский не выдержал. Раз он ощутил себя свободным художником, то решил и дальше так продолжать.

Почему Эд пошел в котельную? Потому что места тут не меньше, чем в начальственных кабинетах. К тому же сухо, тепло. Хочешь — режешь скульптуры, а нет — болтаешь с друзьями.

О том, что из кинематов получится театр, он пока не думал. Правда, его котельная находилась напротив Дома актера, и это можно понимать как указание. Мол, один Дом существует ради актера, его настоящих и мнимых достоинств, а второй предлагает альтернативу.

В самом деле, почему театр — и непременно актер? Ах, если бы исполнитель только лицедействовал, но он еще капризничает и скандалит. Чаще всего его роль в жизни заметна, а на сцене незначительна.

Что касается деревянных фигурок, то они существуют только ради искусства. Не изменят своему предназначению, чтобы посидеть в ресторане или уйти в депрессию. Кстати, и Эд живет так. Немного спит или выполняет обязанности по котельной, а остальное время отдает кинематам.

Татьяна Жаковская

Весной восемьдесят седьмого Таню Жаковскую привели к Эду в подвал. Этому истинно историческому событию много чего предшествовало — не так давно она оставила завлитскую службу в театре Ленсовета, а сейчас была режиссером самодеятельного театра «Четыре окошка».

Как говорил Бродский, «главное — это величие замысла». Вот с чем тут все было в порядке. Она не только написала кучу статей, поставила «Гамлета» и «Дракона», но одна воспитывала троих детей.

Если Эд создавал «движущиеся скульптуры», то он тоже догадывался о «величии замысла». Это были не только воплощения, но и притязания. Попытка сделать что-то такое, чего до него не существовало.

С Алевтиной Вороновой он развелся. Правда, разъехаться не удалось. В его комнате ей принадлежала четырехметровая ниша, а он спал на раскладушке среди кинематов.

Что Эда и Таню не очень интересовало, так это быт. Зато их сближало нечто глобальное. Если он был недоволен скульптурой, буквально скованной по рукам и ногам, то она к этому времени разочаровалась в театре. Конечно, порой сердца актеров и зрителей бились в унисон, но куда чаще ее посещали сомнения.

Сколько раз Таня убеждалась, что если, к примеру, актер с утра ссорился с женой, то он и на сцене продолжит выяснять отношения. Пусть роль совсем о другом, а он думает: «Да как это можно терпеть!» Или вдруг понадобился ввод, а исполнитель не справился. Так плохо произнес: «Кушать подано», что зрители будут смотреть только на него.

Эта проблема давно волнует людей театра. Гордон Крэг и Морис Метерлинк предлагали заменить актера марионеткой. Видно, их тоже не устраивало, что он постоянно ускользает. Все ему объяснишь, а на другой день опять начинаешь сначала.

На этот счет у Тани имелись более близкие примеры — к примеру, тот же театр Ленсовета. Тут непостоянство было свойственно всем — не только исполнителям, но и главному режиссеру.

Отступление о театре имени Ленсовета

Я тоже работал в этом театре, так что могу кое-что дополнить. Неизвестно как бы все повернулось, если бы Игорь Петрович Владимиров не был человеком веселым. Сколько раз казалось, что все летит к черту, но стоило ему пошутить, и равновесие восстанавливалось.

Однажды Владимиров вернулся из очередной отлучки и взялся за «Вишневый сад». Очевидно, это был не давний замысел, а импровизация. Для того чтобы успокоить труп, нужны большие задачи. Когда репетируешь Чехова, думаешь не о своих проблемах, а о том, что он написал.

Автора Владимиров выбрал верно, но пьесу помнил нетвердо. Актеры это быстро раскусили. Особенно волновалась исполнительница Раневской Алиса Фрейндлих. «А как же Чехов, Игорь Петрович?» — спрашивала она и едва не взмахивала руками.

На репетициях Алиса Бруновна называла мужа по имени-отчеству. Все же это работа, и тут важна иерархия. Если кто-то захочет выделиться, то это будет не на пользу спектаклю.

На вопросы жены Игорь Петрович отвечал: «Ничего, Чехов со своим текстом пробьется». Так он был уверен в себе. Это продолжалось до тех пор, пока он не сказал, что Гаев хочет продать вишневый сад.

Выходило, что персонажи, как партизаны на допросе, говорили одно, а думали иначе. Конечно, слова у Чехова часто не открывают, а скрывают, но все же не до такой степени.

Никто из актеров не возразил. Фрейндлих могла себе это позволить, но оставила до объяснения дома. Игорь Петрович все понял сам. Он не отшутился, как обычно, а вроде как признал вину. По крайней мере, так было воспринято объявление перерыва.

Не обошлось без широкого жеста. Все же Владимиров — потомственный дворянин. Чтобы актеры не скучали, он оплатил всем двойной кофе в буфете. Сам же почти на час удалился в кабинет.

Кстати, Игорь Петрович еще и сыграл в спектакле Гаева, а актер, репетировавший сначала, был отправлен во «второй состав». Дело в том, что конкурировать с Владимировым в этой роли бессмысленно. Только он имел право говорить от имени «разбитого вдребезги».

У Гаева тоже был широкий жест — правда, не метафорический, а буквальный. Когда этот герой попадал впросак, то по-хозяйски уверенно разводил руками. Примерно так Игорь Петрович вел себя на упомянутой репетиции — хоть он и срезался у всех на глазах, но пытался сохранить лицо.

Кстати, собранностью Владимиров не отличался и в других ситуациях. Вообразите огромного человека («сто двадцать килограмм продуманного обаяния», — как сказал его друг Вадим Коростылев), который постоянно теряет очки. Всякий раз его спасала секретарша Мила. Он мог позвонить ей поздно вечером и узнать, что они лежат у него в кармане.

При всей похожести Гаева на исполнителя тут существовало нечто другое. Чего не было в Игоре Петровиче, так это прекраснодушия. Гаев же счастливо витал в облаках. Он и рассеян был потому, что слишком хорошо себя чувствовал для того, чтобы думать о мелочах.

Словом, герой творился из сходства и отличия. Причем сходство имело расширительный смысл. Становилось понятней, почему предки Игоря Петровича так легко отдали империю. Наверное, тоже сперва растерялись, а потом уже было поздно.

Как уже ясно, в семидесятые—восьмидесятые годы театр Ленсовета слишком зависел от руководителя. Ах, если бы больше стабильности! Впрочем, непьющий Владимиров был хуже пьющего. Он ходил мрачный, на вопросы отвечал односложно. Так что выход оставался один. Стоило ему расслабиться, и он вновь был талантлив и остроумен.

Итоги и после

Выходило, что все уже произошло. Если бы Крэг с Метерлинком были бы живы, они должны были бы возопить: наконец марионетки стали актерами!

В живописи или скульптуре материал — краски или дерево, а в театре — кровь и пот. Помните термин Станиславского «эмоциональная память»? Он означает, что, изображая другого, актер остается собой. Хорошо, когда он говорит о своей рассеянности, как Владимиров-Гаев, а если демонстрирует что-то не столь безобидное?

После Ленсовета я работал в Молодежном театре. Три года мы его создавали, выпускали спектакли, обретали своего зрителя. Тут восстали некоторые актеры — было бы еще понятно, если бы это был открытый бой, но они вида не подавали. Ждали, когда на их обращения откликнутся соответствующие инстанции.

Конечно, наш режиссер Владимир Малыщицкий действовал необдуманно. У многих нашлись подаренные им перепечатки разных статей. По большей части это были тексты о Высоцком. В подписях на подарках он просил не отступаться, идти до конца. Всякий раз думать, что бы в твоей ситуации сделал поэт и бард.

Этими материалами заинтересовались особенно — мало того, что самиздат, но к тому же с призывами. Уж не подрыв ли это основ? Ведь только государство может публиковать, а тем более советовать.

Как тут не насторожиться? Известно, что революции начинаются с того, что сперва берут почту и телеграф. В данном случае режиссер покушался на право печатать и распространять. Еще более вызывающе выглядело то, что он предъявлял права на собственное телевидение. Эта попытка была осуществлена на сцене, но выглядела на удивление достоверно.

В романе Айтматова «И дольше века длится день» — и в лучшем спектакле Малыщицкого — есть фантастическая линия. Космический корабль, планета с парфюмерным названием «Лесная грудь»... Наверное, можно было поиронизировать, но режиссер не увидел тут ничего смешного.

Восемь телевизоров над сценой прерывали основное действие срочными сообщениями. Узнаваемые дикторы узнаваемыми голосами рассказывали о том, как проходит полет.

Все то, что автор перенес в будущее, тут происходило в настоящем. Даже не просто в настоящем, а в тот день и час, когда зрители смотрят спектакль.

Что может быть более документальным, чем последние известия? Чем строгие костюмы и прически, ровные и чуть торжественные интонации людей на экране?

В дополнение ко всему в кадре несколько раз появлялись космонавты. Подобно большим рыбам они проплывали в безвоздушном пространстве.

Телевизорам и дикторам в этой постановке противостоял мир обычных людей. Впрочем, не такие уж они обычные. Многие моменты их жизни носили черты древнего ритуала. Здесь были ритуал-рождение, ритуал-смерть и даже ритуал-арест.

Тут постарался балетмейстер Леонид Лебедев. Из рифмующихся движений возникал узор. Простое и короткое становилось долгим и многосоставным, понятное и узнаваемое вроде как увиденным со стороны.

Казалось, в координаты времени входит глубина — отсчет начинался с будущего (оно почти не отличалось от сиюминутности), затем следовали события тридцатых годов, а в основе всего было прошлое легендарное. Эти пласты существовали вместе и образовывали гремучую смесь.

Спектакль с участием телевизоров видели немногие — после одного из первых прогонов наш куратор из Смольного высказался неодобрительно. «Ну а если мы откажемся от телевизоров?» — сказал директор в спину уходящему чиновнику. Тот повернулся и процедил: «Играйте».

Судьбоносное решение было принято на ходу, по дороге к выходу из театра. Ни тебе грома и молний, ни явления дьявола. Изуродовали спектакль — и отправились по своим делам: чиновник — домой, а директор — к себе в кабинет.

Малыщицкого сняли примерно через год. После этого во мне поселилась неприязнь. Не к Управлению культуры или обкому партии, а к сцене как таковой. Я просто не мог ходить на спектакли — казалось, тут совершается что-то очень неправильное.

Я стал преподавателем института, и это примирило меня с театром. Таня же успокоилась тогда, когда увидела работы Берсудского.

У Эда было все: талант, оригинальность, смелые идеи, — но его почти никто не знал. Даже обидно: у театра Ленсовета (за углом от его котельной) каждый ве-

чер спрашивают лишний билет, а к нему, как на конспиративную квартиру, попадают по одному.

В это время Таня рассказала о Берсудском Алексею Петренко. Он мрачно ответил: «Ну что, обошлись без актеров?» — и смотреть не пошел. Видно, расстроился за свой цех. Что ни говорите, а есть в этом что-то странное: исполнители лезут из кожи, буквально — тратят себя, а выходит, без них было бы лучше.

Кстати, если бы публика изменила любимому театру и рванула к Берсудскому, то выдержали бы не все. Сложнее всего было бы людям нервным. Носившиеся по подвалу крысы вели себя так уверенно, словно это они руководят котлами.

Вскоре крысы станут героями кинематов. Будут звонить в колокола, печатать на пишущей машинке, крутить педали. Как их прототипы из котельной, они почувствуют себя главными и будут диктовать ритм.

Перестройка и мы

Помните, начало «Зеркала» Тарковского? Юноша на приеме у логопеда. Докторица внушает, что это ему под силу, и он отваживается. Почти без запинки произносит: «Я могу говорить».

Этот юноша — лирический герой не только Тарковского. Когда наступила перестройка, все ощущали себя заиками. Не случайно один из главных спектаклей тех лет назывался «Говори». Каждый понимал, насколько это трудно, а иногда невозможно.

Итак, продуктов не хватает, а искусства сколько угодно. Открываются двери и форточки. Прежде театры рождались раз в тридцать лет, а сейчас один за другим. В Питере в девяностом — девяносто первом их было двести. Среди них и «Шарманка» на Московском проспекте, 151-а.

Поначалу Таня и Эд решили, что кинематов для спектакля мало, и присоединили трех клоунов. Актеры создавали что-то вроде поля игры. Как они ни старались перетянуть внимание, деревянные фигурки были интересней.

Если театр может обойтись без актеров, то без публики ему трудно существовать. Поначалу зрители не спешили в «Шарманку». Видно, большая их часть стояла в очередях за мясом, а меньшая предпочитала другие спектакли.

Жить стало веселее после того, как в «Шарманку» пошли иностранцы. Что-то тут совпало с их представлениями о новой России. По крайней мере, в отличие от давно знакомого Эрмитажа или Мариинки это было нечто прежде не виданное.

Сколько раз Эду и Тане казалось, что жизнь налаживается, а тут выяснялось, что продолжения не будет. В апреле девяносто третьего года их известили, что за помещение придется платить. Новость поражала количеством нулей. Таких средств у театра быть не могло. Если бы даже иностранцы оставляли в коробке в фойе не один, а два доллара, то это бы их не спасло.

Вряд ли Берсудский и Жаковская удивились. Новые явления так же легко возникали, как и исчезали. Сперва открывались под разговоры о счастливых возможностях, а затем вам сообщали: платите денежки. То, что ваши усилия оплачены потом и кровью, в эту сумму не входит.

Об этом был разговор в отделе культуры райисполкома. Вернее, встреч было две — сперва в полный голос, а затем полупшепотом. Все же заведение казенное, а совет неформальный: не хотите ли перебраться туда, откуда приезжают ваши главные зрители?

Кстати, в это время о «Шарманке» много пишут. Причем не только объясняют, что это за явление, но делятся сомнениями. «Спешите познакомиться с этим театром, —

писала „Ленинградская правда“, — пока он не отправился в долгое путешествие туда, где его ждут». А вот статья в «Смене», подписанная хорошо знакомым мне Максимом Максимовым: «Пока „Шарманка“ ждет следующих гастролей — в Англию или в Штаты, в Финляндию или Швецию, время покажет, — одно можно сказать: театр неживых кинематов сегодня живее иных драматических театров. В этом пока еще можно убедиться».

Авторы не сговаривались, но в обоих текстах звучит: «пока». Это тревожное словечко призывает быть настороже: неизвестно, что эти «шарманщики» задумают завтра!

Раз мы назвали Максима Максимова, следует кое-что объяснить. Это имя не меньше говорит о девяностых, чем те обстоятельства, о которых тут вспоминалось.

Максим заведовал отделом культуры в «Смене», но на ботаника-искусствоведа не был похож. Кажется, он носил очки, но больше помнятся крупные руки и широкие плечи. Не вызвало сомнений, что он разбирается не только в театре.

В какой-то момент ему надоело писать о «красивом», и потянуло к настоящей опасности. Он занялся криминальными расследованиями. Наверное, поначалу это походило на игру «в капитана Мегрэ», но все закончилось по-настоящему. В июне 2004 года его убили.

Максиму обещали передать какие-то документы. Известно, что это была сауна, что тело вывозили в мешке, но исполнители до сих пор не найдены. Так что не следует расслабляться. Возможно, мы сидим в кафе или театре, а его убийцы находятся рядом.

А вот еще один штрих к тогдашним обстоятельствам. У театра был покровитель — глава администрации Московского района. Так вот в начале девяностых даже он растерялся. Однажды нервы сдали настолько, что утром он отправился не на службу, а в «Шарманку».

Гость вошел, сел в пустом зале и долго смотрел на кинематы. Когда Таня включила один, он спросил: «Это про что?», а она ответила: «Про нашу жизнь».

Думаю, человек, вскоре перескочивший через пару ступенек иерархической лестницы и умерший подозрительно рано, сам знал про что. Да и о фигурках, которые то ли управляют механизмами, то ли к ним привязаны и потому двигаются в унисон, он тоже все понимал.

Словом, время было разнообразное. Возможности не только открывались, но и пресекались. Иногда, как в случае с «Шарманкой», открывались и пресекались теми же людьми.

Это не отменяет того, что эпоха была важная и значительная. Едва ли не так же как Серебряный век или первые послереволюционные годы. Конечно, проблем хватало, но все же поле еще не расчистили — постоянно то здесь, то там возникали новые ростки.

Историю русской свободы Берсудский рассказал в трех кинематах. В первых двух свободу уничтожают, а в третьем, посвященном девяностым, она становится главной новостью дня.

Впервые эти кинематы были показаны 19 августа 1991 года. По телевизору шло «Лебединое озеро» вперемежку с пресс-конференцией путчистов. Казалось, уж какое тут искусство, но у искусства своя логика. Оно само знает, когда правильной появиться, а когда лучше переждать.

На вопрос зрителей: «Состоится ли спектакль?» — Таня отвечала: «Когда же его показывать, если не сегодня?»

Эти три кинемата заслуживают отдельного разговора. Правда, мы уж очень далеко удалились, но это поправимо — поворачиваем ручку шарманки и возвращаемся назад.

Отступление о Берсудском и Тэнгли

Краткая история невестречи

В Глазго я три раза смотрел спектакль «Шарманки». Всякий раз интересовался, как реагирует публика. Сами посудите: ну что здешним зрителям Карл Маркс? Хоть он и жил в Лондоне, но его дела и мысли им не так понятны, как дела и поступки любого шотландского короля.

Ну а наша перестройка — это вообще что-то туманное. Казалось бы, тут не обойтись без хорошего лектора. Пусть сперва расскажет о хитросплетениях истории КПСС, а уже тогда можно переходить к кинематам.

Лектора нет и не предвидится, но всякий раз люди в зале чувствовали одинаково. Я улыбаюсь, а рядом тоже улыбки. Становлюсь серьезен и вижу вокруг напряженные лица.

Три кинемата называются длинно: «Пролетарский привет достопочтимому мэтру Жану Тэнгли от мастера Эдуарда Берсудского из колыбели трех революций». Во как закрутил! Почему «пролетарский привет»? Отчего «из колыбели»? Да и с «мастером» и «мэтром» надо бы разобраться.

Яснее всего с «колыбелью» и «революциями». Это не только место тогдашней прописки Эда, но важная для него тема. Что касается швейцарца Жана Тэнгли, то для Берсудского это главный авторитет. Правда, о его работах он узнал тогда, когда сам создал много чего. Много лет они двигались в одну сторону, и наконец пришло время им пересечься.

В феврале 1990 года в Москве открылась выставка Тэнгли. Как и Берсудский, скульптор творил из дерева и металла, но прежде всего из движения. Правда, у Эда не было ничего тяжелее печного горшка, а тут по воздуху летали тонны железа.

Эд и Таня побывали на выставке дважды. Хотели увидеть самого Тэнгли, но он в Москву не приехал. Договорились, что когда он будет монтировать выставку в Финляндии, то завернет в Ленинград. Вот к этой встрече делались новые кинематы.

Через пару месяцев в «Шарманку» заглянули туристы из Швейцарии и рассказали, что Тэнгли скончался. Так что обращенный к нему «привет» вроде как повис в воздухе. Впрочем, кто знает? Если прежде дело было в «воздушных путях», то почему бы этому не случиться еще раз?

Страна в трех кинематах

Берсудскому хотелось рассказать «достопочтимому мэтру» о своей стране. Раз тот решил наведаться в Россию, то пусть знает, что все непросто. Конечно, были Пушкин и Достоевский, но это еще не весь ответ.

Начал Эд с Маркса. Хотя философ — чужестранец, но его идеи у нас нашли почву. Помните слова о том, что «мысль материальна»? На сей раз мысль приобрела вид странной машины. Несколько поворотов ручки, и она запущена. Еще поворот, и маховик над головой основоположника летает быстрее. Сперва далеко, а потом так близко, что тот пригибается.

Вот уже Маркс не крутит ручку, а на нее опирается. Ну а маховик существует сам по себе: страшный, беспощадный, угрожающий всему вокруг.

Следующая работа — «Кремлевский мечтатель». Пожалуй, это самый мрачный его кинемат. Тот, кто мечтает, представляет грудку железа и сидит в инвалидном кресле. Чтобы мы не сомневались, что это мертвый лев, вместо головы у него череп льва.

Казалось бы, что такой может — то ли уже опочивший, то ли умирающий? Тем более что помещен он в тесную клетку. Вместе с ним, символом новой власти, здесь томятся знаки сверженного режима — скипетр и орел с герба.

Лев умер, да здравствует лев! Зажигается звезда наподобие кремлевской, фигура начинает шевелиться. Затем оживают железная палка и что-то вроде ножа для разделки туши. Одна поднимается, другой опускается. Ясно, что запертое со всех сторон тело еще долго будет напоминать о себе.

История движется как назад, так и вперед. Морок то сгущается, то рассеивается. Такой была первая оттепель, которую Эд пропускает, так случилось и в эпоху второй.

В кинемате «Осенняя прогулка в перестройку» показан момент отдохновения. Прежде шага без разрешения нельзя было сделать («шаг в сторону — расстрел»), а тут — пожалуйста. Вправо, влево, куда угодно.

Тон при этом легкомысленный. Вращается земной шар, он же — глобус. Крутятся зонтик, пластинка на патефоне, стрелки на часах. Поворачивается вокруг оси голова приятеля Эда художника Ватенина. Несется вскачь деревянная лошадка. Наконец усталые члены раздуваются так, что своей грозностью напоминают жерло «Авроры».

На венском стуле, словно на острове, стоят ботинки, и отлично себя чувствуют. Что с того, что они никому не принадлежат? Зонтик тоже неизвестно кто крутит. По сути, мы видим «восстание вещей». Если перестройка — это бунт людей, то и все, им принадлежащее, не должно оставаться в стороне.

«Аврора» стреляет несколько раз, и это ускоряет общее движение. Хотя ботинки существуют отдельно, но они со своего «острова» тоже участвуют. Постукивают подошвами в такт веселому свисту.

Эта картина удивляет дискретностью. Никак не связаны друг с другом ботинки, патефон, голова художника. Еще поразительней, что в этом нет драмы. Кажется, если мы бодро шагаем, то только этим одолеваем абсурд.

Ах, если бы дело было только в настроении! Улыбнулись, повеселели — и вроде как нет проблем. На самом деле все сложнее. Особенно смущала «смесь» из отживших и новых правил. В сравнении с этой неразберихой союз зонтика и патефона мог показаться гармонией.

Как уже говорилось, «Шарманка» не выдержала аренды. Что ж, вернуть все хозяйство к Эду в комнату — и изредка показывать гостям? После того как они создали театр, это было уже невозможно.

К тому же нынешняя ситуация отличалась от той, что отразили первые два кинемата. Тогда вариант оставался один — «молчи, скрывайся и таи». Теперь Эд и Таня научились самостоятельности.

Кстати, дискретность можно понимать и в этом смысле. Существовать по отдельности — значит жить не чужим, а своим умом.

Раз так, то после невезения непременно будет удача. Они прикидывали, что делать дальше, как вдруг получили подсказку. Театр пригласили на гастроли в Лейпциг. Пришло время «шарманщикам», как их историческим предкам, становиться бродячими артистами.

Помните, что писала «Ленинградская правда»? «Спешите познакомиться с этим театром, пока он не отправился в долгое путешествие туда, где его ждут». Сегодня это читается как предсказание гадалки. Ведь «путешествие туда, где его ждут», все равно что «казенный дом» и «дальняя дорога». Заглядывая вперед, можно сказать, что так и вышло. И поездили немало, и квартиры поначалу были съемные (тут это называется «социальное жилье для малоимущих»), а не свои.

Пока же «шарманщики» грузили свой скарб в фургоны и покидали Петербург. Тем, кто полюбил их спектакли, оставалось жалеть о потерянном, а тем, кто не видел, считать, что театр не может быть без актеров.

Отступление о заикании

Один, второй поворот ручки, и мы в Ленинграде тридцать девятого года. Ну и в последующих годах. Эд родился и рос аутсайдером: мало того, что долго не разговаривал, но лет с двенадцати заикался.

Как могло быть иначе? Обстоятельства не способствовали плавности речи. Начать хотя бы с упомянутого года рождения. Около двух лет перед войной, четыре — на войне. Пусть не на фронте, но жизнь в тылу мирной точно не назовешь.

Вместе с родителями и братом они занимали комнату в коммуналке. Ее перего-раживали занавеска и буфет. По одну сторону — ели, по другую — спали. В квартире было еще пять комнат, и в них проживали семь семей.

Я сам жил в такой коммуналке. Наш коридор был широким, как улица. По нему ездили дети на трехколесных велосипедах. Кто-то постарше сбивал бы головами висящие по стенам тазы, но мы до них не доставали и чувствовали себя уверенно.

Впрочем, я сейчас об Эде. За два года до войны его отца послали служить в присоединенной Эстонии. Вдруг — радостная весть! — он возвращается. Жена с сыновьями отправляются встречать на Балтийский вокзал.

Словно по этому случаю был прекрасный день. По крайней мере, в первой своей половине. Домой решили не ехать, а погулять по городу. Все же лето, солнце, да и компания больно хороша.

Вернулись усталые. Соседка говорит, что сейчас будет выступать Молотов. Отец сел рядом с радиоприемником. Выслушал речь до конца и, даже не перекусив, отправился в военкомат.

Через два месяца он погиб во время Таллинского морского перехода. Промелькнул, порадовал жену и детей и пропал в пучине волн. Его близким оставалось жить дальше. Местом их эвакуации назначили Муром — рядом с Владимиром.

Эту часть жизни Эд почти не помнит. Если что и возвращается, то такая картинка: мать с братом впрягаются в телегу и везут с поля картошку.

После блокады вернулись в Ленинград, в почти пустую комнату. Все, что можно, из нее вынесла дальняя родственница. В который раз им предстояло заново обустроить быт.

Все же не странно, что его детский сад располагался в бывшей квартире Достоевского. Где еще ему находится, как не там, где более всего уместны слова о «слезинке ребенка»?

Так что было от чего заикаться. Да и после хватало поводов. Случалось, Эд начнет фразу и не может ее одолеть. В армии однополчане прямо-таки ждали построения. Бывало, все уже заканчивается, а тут Эд произносит: «Я».

После демобилизации Берсудский решил покончить с недугом. Услышал, что в Харькове некто Дубровский лечит гипнозом. Нашел денег, приехал, отправился на прием. Логопед долго колдовал, но помочь не смог. Так что в Питер он вернулся ни с чем.

Ничего не оставалось, как уйти в тень, чтобы не мозолить глаза. Когда тебя не замечают, можно позволить себе многое. В одиночку даже плакать не стыдно.

С ранних лет Берсудский делает скульптуры. В детском саду Эд лепил из хлебного мякиша и был наказан за неуважение к хлебу. Слава богу, ему не отбили охоты — в двадцать с небольшим он записался в студию при ДК Кирова. Правда, долго не задержался — больно настаивали здесь на правдоподобию, а ему хотелось чего-то другого.

Потом было несколько курсов лепки и рисования, а также Эрмитаж, библиотеки, поездки в Таллин, Ростов, Юрьев-Польский. Мир — в том числе и мир искусства — становился больше. Что сделать для того, чтобы с полным правом сказать: «Я — художник»? Даже эту короткую фразу заика произнесет неуверенно.

Прежде чем завершить рассказ об этом этапе, вспомним один кинемат. Редко Эд так автобиографичен, как сейчас. Даже время указано: «1946». Многого случилось в этот год, но почему-то запомнился безногий на тележке — он ехал за трамваем, уцепившись за него крючком.

Было в этом что-то печальное, но и победительное. Инвалид демонстрировал свою лихость городу и миру. Вроде как говорил: хотя я лишился ног, но бесстрашия не потерял!

Через пятьдесят лет после того, как на углу Марата и Невского Эд замер в изумлении, он вырезал эту фигуру. Несчастный лихо крутит ручку, а тележка устремляется вперед. Впечатляют большие шурупы, соединившие локтевые суставы. Да и весь он сделан грубовато. Так на то он не маршал, а солдат.

Позади тележки обезьянка держит в лапах вентилятор. Впереди — сама смерть. Туда и сюда раскачивается череп козы, позванивают колокольчики. У инвалида красным горят глаза, а сам он освещен нереальным зеленым светом.

Так они и пребывают вместе — инвалид, обезьянка, смерть... Ну и 1946 год, которого не существует отдельно, а только в этой компании¹.

После того как мы сказали о том, что осложняло жизнь Эда, перескочим через ряд лет. Порадуемся, насколько там все иначе.

Как говорилось, в девяносто первом году кинематы начали гастролировать. Зрителей было столько, сколько у Эда и Тани не было никогда. Причем всем хотелось выразить свои чувства. Кто-то поднимал большой палец, другие подходили с разговорами.

Одна зрительница поинтересовалась происхождением автора кинематов. Больно не похоже то, что он делает, на так называемое современное искусство. «В каком веке родился Мастер?» — спросила она у Тани, а та ответила: «Не знаю когда, но он жив до сих пор».

Действительно, есть в Эде сходство со старинными мастерами. Теми, что создали часы собора в Праге или химеры Нотр-Дам. Да и сам он напоминает мастерового: говорит мало, работает много. Слишком болтливым собеседникам предпочитает тишайшие железки и деревяшки.

Когда Берсудского донимают поклонники, он обычно опускает голову и молчит. Говорите: «Beautiful»? Пусть будет «Beautiful». Вряд ли это слово что-то добавит к его работам.

Это сейчас он привык, а тогда такое говорили впервые. Поэтому он слушал с интересом. Однажды даже решил что-то сказать алаверды.

Таня переводит, но про себя чувствует — случилось что-то очень важное. Пока не знает, что именно, но вскоре понимает, что он больше не заикается.

Может, потому его речь и текла свободно, что благодарность подействовала целительно?

В детстве Эд побаивался воспитательницы, в юности — своей тени, а сейчас он ничего не страшился. К его голосе появилась твердость. В нем слышалось то самое, уже упомянутое: «Я могу говорить».

Ночью в «Шарманке»

Теперь отправимся в «Шарманку» сегодняшнюю. Благо, мы уже знаем, что надо сделать для того, чтобы перенестись вперед или назад. Несколько поворотов ручки, и мы опять в Глазго.

¹ Этот кинемат можно увидеть в Петербургском музее неофициального искусства. Он сделан к юбилею сквота на Пушкинской, 10. Эд привез его в двух чемоданах из Шотландии, собрал из деталей и установил. На сегодня это единственная его большая работа, которая находится в России.

Вот уже много лет «Шарманка» — местная достопримечательность. Во всех путеводителях города так и говорится: сперва вы идете в кафедральный собор, а затем смотрите кинематы.

Это, так сказать, парадная сторона, но существует и закулисье. В театре есть все для того, чтобы отсюда не выходить месяцами: кухня, душ, мастерская, полки с книгами. Так и жили Эд и Таня в первые годы после переезда в Шотландию. Совсем не было времени добраться до квартиры.

Несколько раз я ночевал в «Шарманке», так что могу оценить эти ощущения. Мне досталось место не в мастерской и даже не на кухне, а прямо на сцене. Вернее, собственно сцены тут нет, так как зрительный зал представляет большую комнату.

Лежишь на скамье работы Тима Стэда (этого мастера мы еще не раз вспомним), а кинематы окружают тебя со всех сторон. Просыпаясь, я видел деревянные рожи, перемигивался с ними и опять погружался в сон.

Так «Шарманка» открывалась мне не только как зрителю. Да еще в такой час, когда, отработав, творения Эда остаются наедине с собой и даже не подозревают, что за ними кто-то подсматривает.

Конечно, полноценная жизнь театра начинается с утра и в час спектакля достигает пика. В это время фигурки выходят из тени и показывают все, на что способны.

Те же и бегемот

Когда мне было три-четыре года, мама или папа отводили меня в детский сад. Наш путь лежал мимо цирка. Чаще всего по дороге не происходило ничего, но однажды мы видели, как дрессировщик Дуров прогуливает бегемота. Представьте, идет дрессировщик, а впереди этакая темная куча. Все это на фоне чугунных оград и прекрасных зданий.

Словом, бегемот практически «в Летний сад гулять ходил». Может, до сада он не добирался, но направлялся в эту сторону. Как видно, Дуров чувствовал важность момента. Поэтому для всего бытового у него был ассистент. Когда большая куча производила кучу поменьше, он поворачивался и говорил:

— Золотарев!

Потом я понял, что Золотарев — это не фамилия, а род занятий. В девятнадцатом веке производное от бегемота именовали бы «ночным золотом», а того, кто следит за чистотой, «золотарем».

Помнится, от этих чудес я потерял сон. Ну, а когда засыпал, то опять видел Дурова и бегемота. Вновь все повторялось: впереди, гордые и величественные, эти двое, а за ними — человек с ведром и совком.

Почему я это вспомнил? Потому что в детстве Эда тоже хватало событий. Вот хотя бы следующий за трамваем инвалид. Были и художественные впечатления. Сколько раз он смотрел «Золотой ключик»! Видно, догадывался, что вскоре сам станет папой Карло. Будет извлекать из дерева то, что больше не видит никто.

Словом, вкус к превращениям проявился очень давно, а потом питал его творчество. Кажется, тут цепная реакция. Сперва сам испытываешь это чувство, а потом им заражаешь других людей.

Когда в последний раз его зрителей посещало что-то такое? Когда увидели бегемота в районе Фонтанки? Или когда играли в солдатики? Радовались тому, что войска только идут на штурм, а ты уже знаешь, кто победит.

Ребенку неважно, кто прав. Его интересует процесс. Ощущение себя первым лицом. Может, даже богом, творящим новую реальность.

Кстати, я в детстве предпочитал игрушкам кастрюли. Они гремели, и это обозначало все — от победы до поражения, от жизни до смерти. Вернее, грохот сопровождал любое событие, а остальное было делом воображения.

Вот и в «Шарманке» вроде как играешь. Скидываешь с себя тридцать, сорок, пятьдесят лет. Хоть не гремишь посудой и не командуешь пластмассовыми войсками, но удивляешься и сопереживаешь.

Спектакль

Начнем «от печи». Или в данном случае со входа. «Шарманка» располагается не отдельно, а вместе с десятком других культурных заведений. Чтобы попасть сюда, надо подняться на второй этаж и миновать десяток дверей.

Итак, вы вошли. Теперь подождите, пока свет коснется первого кинемата, и он поведаст свою историю. Затем заговорят второй и третий... Когда выскажется последний, это будет финал спектакля.

Кстати, внутри большого пространства огорожено маленькое, примерно по размеру комнаты Берсудского в Ленинграде. Конечно, шотландские зрители ничего этого не могут знать. Лишь питерские знакомые помнят, что кинематы стояли так тесно, что оставалось место только для раскладушки.

Угадываете мысль? Кинематы сменили место жительства, но вроде как не сдвинулись с места. Возможно, и сейчас им кажется, что за окнами Ленинград. Словом, тут тоже, как в шарманке, движение по кругу. Вперед, а на самом деле назад.

Казалось бы, судьба Эда и Тани свидетельствует о пользе перемен, но общая интонация театра скептическая. Если деревянной фигурке мерещится выбор, то это иллюзия. Пусть даже она натягивает нити или заводит механизм, но ситуацией управляет другой.

Вот кинемат «Время крыс». Казалось бы, тут всем заправляют хвостатые. Прежде всего та, что в цилиндре. Уж очень уверенно она крутит ручку. Несколько поворотов, и одна ее соплеменница звонит в колокола, а другая печатает на пишущей машинке.

Нет, все же не так. Конечно, прав у нее больше, чем у машинистки и звонаря. Что касается главного, то вот же он — крысы со всех сторон облепили слепого крота. Он забавно шевелит усами, добродушно позволяет эту вакханалию.

Итак, крыса в цилиндре возомнила себя единственной, но мы-то понимаем, кто чего стоит. Правда, похоже на то, как это бывает с людьми? Чем больше они надувают щеки, тем быстрее сдуваются.

Эд говорит об этом безо всякой ажиотации. Вот так же всегда спокоен Даниил Хармс. Когда мы читаем: «Из окна вывалилась третья старуха», то думаем не о «скорой помощи» и переломанных конечностях, а о тщете всего земного.

Отступление о предшественнике Берсудского — Хармсе

Опять поиграем в игру «Шарманка». Сперва повернем в сторону, а затем вернемся назад. Поговорим о том, как возникает вторая реальность. Как художник использует разные материалы или не использует ничего. Творит из самого себя.

Странно назвать Хармса и ничего не объяснить. Да и вспомнить было бы правильно. Лет тридцать назад я разговаривал с вдовой Бенедикта Лифшица Екатериной Константиновной. Тогда я впервые понял, что такое обэриутство.

Жила Екатерина Константиновна в небольшой питерской квартирке. По стенам висели акварели ее приятельницы Ольги Гильдебрандт. Казалось бы, в тридцатые годы

актуальны барышни в красных косынках, но тут изображались дамы в кринолинах. В реальности их уже не существовало, но зато они являлись во сне.

Словом, в этом доме ценилось все сочиненное. Поэтому Хармс был здесь любимым гость. Ведь он только и делал, что выдумывал. Для этого годилась не только бумага, но улица и потолок.

Сейчас бы все это записали по разряду «перформансов». Прежде всего это был Хармс. В том, что Даниил Иванович делал, он непременно отражался.

Казалось бы, что можно извлечь из прогулки? А конкретно из того, что всякий раз путь лежит мимо аптеки? Большинство тут ничего не увидит, а он превратил в игру.

Одно время Хармс приходил каждый день — и они шли погулять. Когда доходили до аптеки, Даниил Иванович говорил: «Извините, мне тут надо полежать» — и укладывался на асфальт.

Это испытание Лифшицы прошли с честью. Не спрашивали, что это значит, а тихо стояли, будто ожидая завершения ритуала. Затем он поднимался, и они двигались дальше.

Конечно, не все настолько мудры. Бывало, звали милиционера. Когда тот появлялся, все трое бодро шагали по улице.

А вот еще одна история. Однажды Хармс создал нечто вроде кинемата. Его творение не двигалось, но, так же как настоящие кинематы, представляло сумму. Сочетание того, что вроде как не должно соединяться.

В куче принесенного с помойки хлама особенно выделялись спинка кровати и велосипедное колесо. Все это Даниил Иванович присоединил к люстре. Из источника света она превратилась в источник угрозы, чуть ли не в дьявольскую машину.

По отдельности эти вещи ни на что не претендовали, но совсем другое, когда они вместе. То, что было выброшено за ненадобностью, вдруг стало незаменимым. Если угодно, «лучшими словами в лучшем порядке».

Удивляет сходство не просто с поэзией, а именно с текстами Хармса. Ясно, что его произведения не мягкие и теплые, а железные и деревянные. Он сам об этом сказал так: «Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьется».

Не значит ли это, что начальство сразу должно реагировать? Так принял меры домоуправ. Не прошло и получаса, а он интересовался: «Не настоящая ли это бомба?» — и карабкался по приставной лестнице.

Домоуправ убеждался, что это только спинка кровати и только колесо. Правда, ослабиться ему не давала такая мысль. Конечно, это лучше взрывного устройства, но тоже ничего хорошего! Сколько раз Хармсу говорилось, что лучше не выделяться, а он не угомонится.

Шарманка, возвращай нас назад. Кстати, мы не так далеко ушли от творца кинематов. Эд не признает ограничений, а как раз об этом уличная акция. И уж точно он согласится с тем, что все нужное для творчества можно найти на помойке.

Какова мораль? Что ж, пожалуйста. Для того чтобы открылись поэтические возможности, надо преодолеть прагматику. Тогда у спинки кровати и велосипедного колеса начнется новая жизнь. В хозяйстве они уже не пригодятся, но зато смогут воспарить.

Продолжение спектакля

Продолжим путь по «Шарманке». Следующий кинемат — «1937, или Замок». Речь не только об этом годе, но отчего бы болезнь не назвать так? Пусть даже она проявилась раньше и еще долго не оставляла потом.

Вот башня, похожая на кремлевскую. На всех этажах вершится неправый суд. Режут, рубят, бьют. Опускается и поднимается что-то железное. Маятник, похожий на меч, ходит туда и сюда.

Казнь совершилась, четыре головы надеты на колья. Да это же Мандельштам, Бабель, Цветаева, Михоэлс! Конечно, в реальности были самоубийство, смерть от голода, выстрел в затылок и автокатастрофа, да и случилось это в тридцать восьмом, сороковом, сорок первом, сорок восьмом. Так что «1937» — это название нарицательное. Оно вместило в себя многое, вплоть до средневековых казней.

Неужели тот, кто попал в эти жернова, отсюда не выберется? Оказывается, свет есть. Едва он коснулся голов казненных, и ангел совершил круг вокруг башни. Значит, Бог не оставил этот дом бедствий — и направил своего представителя.

Смерть для Эда — важный персонаж. Речь не только о черепах и скелетах, которых немало в его работах, но в теме прощания. Сильнее всего она звучит в кинемате «Титаник», посвященном памяти Риты Климовой.

Про «Титаник» ничего объяснять не надо, а Климову мало кто помнит. Тем важнее сказать о ней несколько благодарных слов. Мало кто, как она, любил литературу. Не делила на разрешенную и запрещенную, а лишь на хорошую и плохую.

Почему-то выходило, что хорошая литература чаще всего запрещена. Чтобы познакомиться с ней больше людей, надлежало сделать закладку. Отправить в мир еще четыре копии.

Вот настолько мы были литературоцентричны! Хорошо еще, изобрели пишущие машинки. А так бы книги, как в Древней Руси, распространялись путем переписывания.

Риту сослали на три года в Читинскую область — подальше от хороших книг и средств распространения. Ровно столько оставалось до перестройки. Так что выпустили ее прямо к празднику гласности. Казалось бы, ей следует быть в первых рядах, но вышло иначе.

Советскую власть Климова — и такие, как она, — победила, но с болезнью не справилась. Она начала лечиться в России, а в апреле девяносто четвертого по приглашению Эда и Тани отправилась в Шотландию.

В первое время действительно появилась надежда. Домой Рита возвращалась с чемоданом лекарств для химиотерапии.

Врачи предполагают, а Бог располагает. Рите обещали пять лет жизни, но умерла она через три месяца.

Вот о чем кинемат «Титаник». При этом тут нет ни фигурки женщины с книгой, ни решеток тюрьмы. Вообще это не только о ней, но о том, что такое смерть и утрата.

Звучит музыка, вращаются колеса и какой-то непонятный бочонок, мерно колыхаются крылья... На одном месте крутится человек с подозрительной трубой, которая почему-то обращена не вдаль, а на центральную ось.

Может, этот, с трубой, капитан «Титаника»? Неважно, куда смотрит труба, ведь корабль идет ко дну. Да и одежда уже не обязательна. Поэтому все герои голые, как и должно быть перед Страшным судом.

Капитан тоже голый, но на нем фрак и цилиндр. Это уже не имеющие смысла знаки власти. Все равно что фуражка и китель.

Если «Титаник» опускается под воду, то пассажиры вскоре попадут на небо. Поэтому корабль оснащен большими крыльями, а капитан — маленькими. Он ритмично вскидывает руки, словно пытаясь взлететь. Ну а как иначе? В таких ситуациях ему надо быть впереди всех.

Не забудем про колокол с надписью «Титаник». Он звонит по тебе — вернее, по всем нам. Так вышло, что название корабля стало именем трагедии. Только его произносишь, и уже ничего объяснять не надо.

Откуда же ощущение гармонии? Может, дело в дистанции? Минувшее видится словно со стороны. Смотришь на эти кружения — и настраиваешься на философский лад. Думаешь, что каким бы ни был финал — таким, как у «Титаника» или как у бедной Риты, — все случится в положенный час.

Не знаю, видел ли Эд два резервуара рядом с нью-йоркским музеем памяти 11 сентября. По стенам струйками стекает вода, достигает следующего предела — и в нем исчезает. Так показаны падение и гибель. Оба эти состояния бесконечно длятся, напоминая о том, что навсегда останется с нами.

Американскую трагедию Берсудский пережил в посвященном ей кинемате.

Человеческий скелет вращает колесо. Повернул раз, и спускающиеся веревки стали подрагивать. Подрагивают и прикрепленные к веревкам фото. Вот они, будущие жертвы теракта. Одни серьезные, другие улыбаются. Не догадываются, что их жизни висят на ниточках и скоро оборвутся.

Благодаря вертикалям — веревкам и фото — возникает образ небоскребов. Или щеки, по которой стекает слеза. Или небоскребов — и слезы. А подрагивание веревок имеет сходство с человеческим трепетом. Веревок тут столько, что кажется, трепетом охвачено все.

В работах Берсудского много печали. Тем неожиданней его трактовка старинной истории. В кинемате «Виктория» нет смерти и воскресения, но есть преодоление. Попытка превратить хаос — в космос.

Тот, кто вскоре станет Богом — маленький, хрупкий, в прямом смысле — дробящийся, — подвешен среди нитей и железных колес. Двигутся не только руки и ноги, но плечи и локти. Он то ли извивается в смертной муке, то ли танцует.

На голове у него кипа. Перед нами не только создатель религии, но наследник более древней веры — так же как его сородичи соединяют молитву и танец, так он движением преодолевает боль.

Преодоление — это и тема «Вавилона». Действия его персонажей не логичны, но они полностью ими поглощены: король крутит колесо, лошадь кланяется, Сталин поднимает и опускает топор... Почему картина коллективного безумия выглядит празднично? Может, дело в том, как герои выглядят? Кажется, одежду, корону и топор они позаимствовали в реквизиторской.

Видно, тут спасаются яркими красками, так же как в кинемате о перестройке спасались хорошим настроением. Ну а ангел над кремлевской башней, несущий надежду? Вроде ему неоткуда появиться, но он свободно парит.

Еще вспомним того, кто в кипе, — ритмически двигаясь, он обретает ту цельность, без которой нет ни человека, ни Бога. Да и кинемат памяти Риты Климовой утешает. Он говорит о том, что есть смерть, но существует и память, а значит, никакая ситуация не окончательна.

Как видите, здравый смысл всегда проигрывает. Только мы в чем-то утвердимся, а тут неожиданный поворот. Этот вывод подтверждает и судьба Эда и Тани. Сколько у них случалось безвыходных ситуаций, но выход находился всегда.

Часы «Миллениум». Введение

У нас дома на холодильнике есть магнитка с кинематом «Миллениум», созданном Эдом для шотландского Национального музея в Эдинбурге. Когда она попадает мне на глаза, я думаю: надо же! Только ему такое могло прийти в голову!

Магнитка напоминает о том, как двадцатый век менялся на двадцать первый. В честь такого события следовало если не построить собор, то сделать что-то, что будет подобно собору.

От настоящих соборов «Миллениум» отличается то, что он в то же время является часами. А еще рассказом в картинках. За считанные минуты перед нами проходят мгновения ушедших веков.

Не случайно возник этот замысел. Многие работы Эда представляют нечто, устремленное вверх и поделенное на этажи. То есть практически собор.

Еще кинематы имеют сходство с вертепом, и «Миллениум» не исключение. Существовал когда-то такой кукольный театр, в котором деревянные фигурки рассказывали о «божественном». Тут сходны не только конструкции, но и масштаб. Всякий раз Эд хочет «закрыть тему».

Чтобы построить средневековый собор (так же как и вертеп), нужна работа артели. Чтобы каждый отвечал за что-то свое, а все вместе работали на общий замысел. Вот и «Миллениум» создавала такая артель. Деревянные конструкции делал Тим Стэд, вставки из цветного стекла — Аника Сандстром, общая концепция принадлежала Та-не и жене Тима Мегги.

Эд заселил это пространство фигурками. Он был тот, кто сказал: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их.

И стало так.

События башни

«Миллениум» разделен не только этажами, но и цветом. Внизу дерево кажется обгоревшим, а сверху едва не сверкает от свежести. Кажется, одно вырастает из другого. Умирает и — воскресает опять.

Как всегда у Эда, есть тут главный персонаж. На сей раз эта роль отдана не крысе, а обезьяне. От обитательницы джунглей она отличается тем, что у нее женские груди и бусы на шее... Когда это полуживотное (получеловек?) поворачивает ручку, башня приходит в движение.

Следующий этаж принадлежал бы большим и малым колесам, если бы не фигурки Чаплина и Эйнштейна. Один взмахивает тросточкой, другой играет на скрипке. Их присутствие успокаивает. Появляется уверенность, что как бы ни были грозны железные механизмы, эти двое окажутся сильнее.

Да, есть еще маятник, состоящий из железного стержня и круглого выпуклого зеркала, в котором постоянно кто-то отражается. Так что только скрипка и тросточка верны себе. Одна всегда будет играть, а другая взлетать вверх.

Убедившись в преходящести всего на свете (прежде всего нас, зрителей кинемата), поднимемся чуть выше. Тут находится пространство геополитики. Хвостатые Гитлер и Сталин расположились по обе стороны двуручной пилы. Они так поглощены этим занятием, что ничего не замечают. Только мы видим все — на этом этаже распиливают, а на другом мучаются и страдают.

Вот двенадцать фигурок — жертв минувшего тысячелетия — на вращающемся круге. С каждым поворотом какая-то из них приближается. Один привязан к колоколу, другой прикован к кресту. У третьего нет атрибута веры. На нем интеллигентские очки, и, возможно, потому он посажен на кол.

В фильме BBC «Миллениум» сравнивают с памятником Третьему интернационалу. Что ж, мысль верная. И не только потому, что одно творение начинается двадцатый век, а другое завершает.

Возьмем татлинский неосуществленный проект. Это тоже своего рода кинемат, то есть нечто такое, что раскрывается в движении. Железные конструкции, подобно рулону, то ли сворачиваются, то ли разворачиваются, а затем останавливаются. Зато

вращаются постройки внутри «рулона» — первое со скоростью одного оборота в год, второе — в месяц, третье — в день.

Обычно памятники посвящены прошлому, а этот настоящему и будущему. Предполагается, что в этих зданиях будут располагаться органы управления. А так же то, что делает их властью, — можно ли без телефона и телеграфа руководить огромной страной?

Почему ничего не вышло? Уж больно много противоречий с новой реальностью. Представьте, башню построили, а тут настали тридцатые годы! Как бы она вписалась в новые времена? Может, только вращающиеся здания были бы актуальны. Тем, кто понимает, они бы говорили о том, что «мы живем, под собою не чуя страны».

Если Татлин прозревает что-то впереди, то Эд знает, что там нет ничего хорошего. Только люди придут в себя, и вновь начинается что-то неприятное... И так — десятилетиями. Все было бы совсем грустно, если бы не усилия отдельных людей.

О Чаплине и Эйнштейне уже было сказано. А это Пьета, вариант Берсудского. Обычно ее изображают с телом сына на коленях, но та, что стоит на вершине «Миллениума», держит его на вытянутых руках.

Это единственное, что она может для него сделать. Он опять для нее маленький, неспособный обойтись без ее участия. Не зря пеленание младенца похоже на оборачивание в плащаницу.

Трудно? Да практически невозможно. Мало того, что ноша непосильна, но она стоит на небольшом шарике и каждую секунду может соскользнуть.

Если отойти подальше от кинемата, то видишь вертикаль и горизонталь. История воскресшего накладывается на судьбу его матери и образует крест.

Сколько раз армии проигрывали, но кто-то один побеждал. Порой хватало единственного жеста — например, такого, как у героини «Миллениума».

Может, так начинается то, что Пастернак назвал «усилием воскресения»? Ведь это так естественно: сперва этого захотела она, и тогда у него получилось?

Такую башню создал Берсудский со своими соавторами. Незадолго до окончания работы за его стремления пришел счет. У Эда случился микроинсульт. Что он сделал, выйдя из больницы? Вырезал еще четыре фигурки, и композиция была завершена.

Платил и основной соратник Эда Тим Стэд. Ему никак не удавалось справиться с болезнью. Так что на свете его держал только «Миллениум». Он так и планировал — сперва закончить, а потом — будь что будет.

О мастере Тиме Стэде, созданных им стульях и стихах, речь впереди, а пока два выпускника питерского Театрального института едут из Гервана в Глазго. В окне — ровно подстриженные поля другой страны, а их мысли обращены к Ленинграду семидесятых.

ИНТЕРМЕДИЯ ПЕРВАЯ. РАЗГОВОР В ПОЕЗДЕ ПО ДОРОГЕ ИЗ ГЕРВАНА В ГЛАЗГО

Наш препод — Барбарис

Если отступление предполагает другой поворот темы, то что говорить об интермедии? Она может завести совсем далеко. Впрочем, не спешите. Бывало, отойдешь в сторону, и открывается новый вид. Не то чтобы ты об этом не догадывался, но теперь окончательно утвердился.

Это сочинение не ограничено одним временем и пространством. Вы уже заметили, что мы постоянно в движении. То чуть вперед, то сильно назад. Вот и сейчас свернем с магистрали. При этом не уйдем от основной темы.

В разговорах мы с Таней не раз припоминали шарманку. Не только потому, что в честь нее назван театр, но из-за того, что это слово скрывает. Жизнь действительно любит потоптаться на месте. Что-то сдвигается, а потом возвращается на круги своя.

Вот об этом мы говорили: помнишь нашего преподавателя зарубежной литературы? Это о том же. Правда, не о том, что шарманка талдычит один мотив, а про сбой. Казалось, Барбарис должен оказаться в лагере, но ему повезло.

Барбарис — сокращение от «Борис Александрович» и в то же время напоминание, что он любил сладкое. Его фигура свидетельствовала, что он в этом себе не отказывает. К тому же это читалось на его лице. Если книга вызывает такое выражение, словно у него за щекой леденец, то что говорить о конфетах?

Итак, мы переглядывались с овцами (отчего бы им не видеть людей в поезде?), но наши мысли были далеко. Как бы удивился наш преподаватель, если бы узнал, где мы его обсуждаем! Кстати, он сам попал за границу только в старости. Правда, за жизнь так подготовился, что мог водить экскурсии по европейским столицам.

Пожалуй, я не назову фамилию. Хотя бы потому, что это избавит меня от рекламаций. Всегда найдется какая-нибудь ученица, которая скажет:

— Нет, это не он.

Есть, конечно, сколько-то человек, которым достаточно имени-отчества. С каждым годом этих людей все меньше. Одни сменили профессию, а другие просто умерли. Не посмотрели на то, что им, казалось бы, не скоро.

Барбариса мы ценили едва ли не больше других педагогов. Хотя он нас не очень-то замечал. Даже на лекциях обращался не к нам, а к кому-то за нашими спинами. Его жест словно призывал невидимого слушателя: эй там, далеко! Не видите, что я к вам обращаюсь?

Почему мы не стремились на его занятия? Не из-за того, что он был к нам не внимателен. Это можно было перенести, если бы он не был жаворонком. Лекции назначались на то время, когда многие из нас не протерли глаза.

Как бы он прореагировал, если бы мы попытались договориться? Наверное, тоже взмахнул рукой, словно вызывая издали своего постоянного собеседника, и перешел к разговору с ним.

Мы решили не нарушать дистанцию, а к ней приспособиться. Пропускали занятия вроде как в шахматном порядке. Перед каждой лекцией договаривались о том, кто на нее пойдет.

Как-то эта участь выпала мне и еще одной студентке. Я пришел, а моя однокурсница проспала. Так что в аудитории нас было двое. Вот, думаю, сейчас будет шуметь! Он посмотрел сквозь меня — так он прежде смотрел на всех нас — и приступил к лекции.

Что я при этом чувствовал? Примерно то же, что Всеволод Иванов, которому читает лекцию Блок. Или я тогда об этом не знал? Как бы то ни было, меня охватывало смущение пополам с призванностью. Краснел я не только оттого, что тут находился, но и потому, что мог здесь не оказаться.

Предполагаю, что если бы не пришел никто, лекция бы все равно состоялась. Так и вижу, как кто-то заглядывает в аудиторию, а Барбарис один. Голос гремит, рука летит... Дверь тихо закрывается, а он, ничего не заметив, продолжает вещать.

Кто только над ним не подтрунивал! Однажды он стал героем капустника. В нем изображалось, как в аудиторию входит лев. Исполнитель этой роли не только правдоподобно рычал, но набросился вполне натурально, чуть ли не взгромоздившись на свою жертву.

Что нашему преподавателю лев или даже танк, если даже комиссии, пришедшей с проверкой, он не смутился?

Как-то заходят в аудиторию несколько человек. Тихонько так постучали, жестами попросили не вставать. Мол, мы как вы. Сядем на задней парте, откроем тетрадки и будем ловить мысли вашего педагога.

Борис Александрович сразу все понял. Сколько таких — тихих и предупредительных — было в его жизни! Поэтому в секунду он совершил кульбит: до появления комиссии он рассуждал о Кафке, а после об Анне Зегерс.

Следует напомнить, что в то время Кафка считался писателем подозрительным, а Зегерс была чуть ли не главным романистом Германской Демократической Республики.

Переход совершился чуть ли не посредине фразы. Несколько минут мы хлопали глазами, но когда прозвенел звонок, смотрели с восхищением. Теперь мы знали, что оборону держат по-разному. Иногда достаточно переключить внимание на другой объект.

Таких примеров сколько угодно. Все они сводятся к тому, что он никогда не забывал об осторожности. Не только вспомнит кого надо, но еще уравновесит размышления словами о «голом чистогане» и «производственных отношениях».

Что ж, понять его можно. В семидесятые мы только начинали, а ему уже ничего не надо было объяснять. Люди его поколения с ранних лет усвоили правило, которое сформулировал один старшина: «Если моча ударила тебе в голову, — утверждал он, — лучше проглоти язык».

Так он жил. Как-то у него выходило быть человеком своей эпохи и в то же время единственным. Если тогда он выделялся, то сейчас таких просто нет.

Его предмет начинался с истоков, а заканчивался через несколько тысяч лет. При этом никаких шпаргалок, все на чистом сливочном масле. Назовет год и число, а потом уточнит, какая в тот день стояла погода. При этом тон у него был заговорщицкий, словно он это не вычитал, а чуть ли не вспоминает.

«Ну как же, как же! — слышалось, к примеру, тогда, когда Барбарис называл 8 сентября 1474 года. — Можно ли это забыть! В городе Ферраре в семье Ариосто появился первенец».

Считать ли его артистом? Кое-какие жесты об этом свидетельствовали. Правда, артист не должен парить над публикой, а он, как уже сказано, был сам по себе.

Вот о чем мы беседуем, когда собираемся своим кругом. Выпьем по рюмочке, подцепим вилкой маринованный гриб и вновь возвращаемся к тому, что обсуждалось тысячу раз.

Как, к примеру, понять такую «квадратуру круга»? Барбарис был точен и доказателен, когда говорил о Сервантесе и Данте, но с Бродским случилась беда. Тот уже был фигурой неприкосновенной, а он называл его версификатором. От таких слов студенты покрывались испариной, но все же в спор не вступали.

Думаю, когда-то давно наш преподаватель дал слабину. В эпоху суда и ссылки многие отзывались о поэте пренебрежительно, а потом сориентировались. Он слишком уважал себя, чтобы вести себя непоследовательно, и продолжал настаивать на своем.

Другими словами, Барбарис не лез на рожон, но конъюнктурщиком не был. Оставался верен не только правильным, но и неправильным своим мнениям.

Вроде все с ним ясно, а приглядишься — начинаются вопросы. Сколько лет мы складываем этот пазл, а что-то не получается. Думаю, пора с этим смириться. Признать, что если соединить блестящее и тусклое, скрытое и открытое, то это будет он.

Бывают такие гремучие смеси. Прибавьте еще, что он был человеком своей эпохи и человеком культуры, ни от какого времени не зависящим... Чтобы все это стало понятней, перейдем к истории, которая многое объяснит.

Барбарис на пенсии

Борис Александрович еще бы лет сто лет преподавал, если бы не стал слепнуть. Теперь в институт он ездил на такси. Это, конечно, лучше, чем на автобусе, но тут были свои зававыки: он спрашивал у водителя, сколько он должен, но отсчитать нужную сумму следовало ему самому.

Когда же он входил в институт, то тут тоже все было непросто. Прочесть лекцию не составляло труда, но аудиторию без чужой помощи найти не мог. Уж больно много тут этажей и коридоров.

Однажды Барбарис заснул на занятии. Студенты испугались, что ему плохо, и помчались за помощью. Когда с другого этажа прибежал декан, он уже рассказывал что-то интересное. Правда, слушателей было всего двое, но количество, как уже сказано, не имело для него значения.

Конечно, осадок остался. Как у него, так и у руководства. Поэтому его просьбу о пенсии восприняли с пониманием. С тех пор его не видели ни в институте, ни в театрах или музеях. Правда, он постоянно баловал себя тем, что отправлялся в Дом книги.

Можно обойтись без какой-нибудь выставки, но как не поинтересоваться новинками! Это все равно что заядлому пьянице бросить пить.

Любой этап поездки его радовал. Еще из троллейбуса он видел дом, над которым вознесся стеклянный глобус. Входил, шел на второй этаж. Подойдя к прилавку, начинал вглядываться. Названий не различал, но вроде как приобшался к этому космосу.

Пока есть силы добраться до магазина, все более или менее ничего. Вот когда это станет трудно, можно будет задуматься об окончательном покое.

Тогда я уже работал в институте. Не в том, где мы слушали Барбариса, но от Дома книги тоже недалеко. После занятий я часто сюда сворачивал. Случалось это в разное время, а тут выпал четверг, около пяти часов вечера.

На втором этаже рядом с прилавком стоял наш преподаватель. Через неделю я оказался здесь в это время и, кажется, понял его секрет. Это был день и час исполнения ритуала.

Про себя эти встречи я называл: «У Люси». Когда я входил в зал на втором этаже, Барбарис беседовал со знакомой продавщицей. Случалось, он опаздывал, и у прилавка стоял я. Некоторое время мы разговаривали вдвоем. Затем он собирался уходить, а я шел его провожать.

Стоять Барбарису было проще, чем идти. Мешало все, начиная от поворотов лестницы до числа ступенек. При этом он размышлял. Эти задачи были настолько разные, что до остановки мы шли минут сорок.

Удивительно, что в положении пешехода он оставался лектором. Если упоминалось что-то неизвестное, то следовала справка. Затем скобка вроде как закрывалась, и он возвращался к основному сюжету. Столь же явной была точка. Она ставилась за секунду до того, как троллейбус подъезжал к остановке.

Петр Губер

Героем одной его истории был Петр Константинович Губер. Сперва Борис Александрович перечислил его книги и вкратце их охарактеризовал. Затем кое-что сказал о нем самом.

Губер был человеком одаренным, но вроде как неосуществившимся. Всю жизнь только и делал, что начинал. Окончил экономический факультет, но экономистом не

стал. Учился на юридическом, но и тут не закрепился. Даже военным в Первую мировую был каким-то неокончательным: не танкист и не сапер, а переводчик и журналист.

Свои впечатления Губер изложил в очерках для американской газеты. Сейчас бы сразу спросили: «Почему американской?», но тогда это никого не удивляло: американцы не были союзниками, но за действиями стран, воюющих с Германией, наблюдали с полным сочувствием.

Потом очерки вышли отдельным изданием. На обложке значился не Губер, а Арзубьев. Тоже мне «секрет Полишинеля»! Такие задачки органы решают на раз. Когда в середине тридцатых он оказался в кабинете следователя, эта книга лежала у него на столе.

После революции Губер старался не высовываться. Темы выбирал далекие от современности. Впрочем, опыт фронтового репортера сказался и тут — в прошлом его интересовали сюжеты самые что ни есть горячие.

Выяснилось, что биография Пушкина тоже в каком-то смысле фронт. По крайней мере, книга Петра Константиновича вышла скандальная. В ней он пытался разобраться, по какому праву в «донжуанский список» попала та или иная особа.

Вот, казалось бы, золотая середина. Губер занимается историей и переводами, а советская власть им не очень интересуется. То есть, конечно, держит в поле зрения, но не досаждают. Так продолжалось до тридцать пятого года, когда ему припомнили американскую газету и парочку неосторожных реплик.

Наказание назначили не самое строгое. Всего-навсего ссылка в Архангельск. Он бы с этим примирился, если бы в городе имелась хотя бы одна хорошая библиотека. Ведь что такое историк без книг? Получеловек и четверть литератора. Право работать у него есть, а опереться не на что.

Авторы бывают разные. Кто-то все необходимое находит в себе, а другому следует наполниться знаниями. Когда он видит, что достаточно, то садится писать свое.

Барбарис дружил с сыном Губера Сашей. Да и вся семья ему нравилась: Петр Константинович, младший сын Костя, дочка Наталья и Елена, жена Анна Аркадьевна. Вспоминая о них, он видел каждого с книгой. Конечно, в этом доме не только читали, но это занятие им подходило больше всего.

Когда Борис Александрович узнал, что Петра Константиновича сослали, он насторожился. Значит, книги могут не все. Если даже зарыться в них по самую макушку, это тебя не спасет.

Губеры разъехались в разные стороны. В ссылку с Петром Константиновичем отправились жена и дочка. Некоторое время в Ленинграде оставались сыновья, но потом началась война.

До этого Костя и Саша считали врагами тех, кто запретил отцу жить вместе с ними, но теперь вырисовался противник покрупнее. Казалось, если с ним справиться, остальные исчезнут сами собой.

Барбарис тоже пошел в военкомат. Всю жизнь он был рядом с Губерами, но сейчас им пришлось расстаться. Каждому определили свой фронт.

Это добавляло переживаний. Весь день бежишь, стреляешь, бьешь немцев. В паузах вспоминаешь своих близких. Мысленно обращаешься к кому-то из них и вроде как разговариваешь.

Еще он мечтал о Питере. При этом видел не Адмиралтейство или Казанский собор, а свою телефонную книгу. А в ней — вся его жизнь! Набираешь любой номер, и прошлое возвращается.

На фронте важнее всего, как лягут карты. Повезет — останешься жив. Род войск тоже имеет значение. Одно дело — пехотинец, а другое — артиллерист. Артиллериста защищает орудие, а пехотинец — и орудие, и солдат.

Трое друзей попали в пехоту, но ранения оказались несущественные. Да и как без них, если постоянно под огнем? Сколько ни пригибай голову, а уберечься невозможно.

Без шрамов тоже не обошлось. Ну и орденов было по числу шрамов. После войны Барбарис долго не снимал форму. Вот, мол, я, словно говорил он, через все прошедший, но все же живой. Да, да — позвякивали ордена, и это обозначало, что теперь у него начинается новая жизнь.

В Питере осуществилось то, что грезилось между боями. Нашлась телефонная книга. Ее спасло то, что она такая маленькая. Спряталась в уголке письменного стола и дождалась хозяина.

Книга потемнела лицом-обложкой и покрылась морщинами-царапинами, но цифры отлично читались. Одним номерам он улыбался как старым приятелям, а другие узнавал смутно. Тут ничего не поделаешь: бывало, запишешь номер, а продолжения не случится. В мирное время люди пропадали без повода, а в военное уезжали в эвакуацию или уходили на фронт.

Почему у него не было Сашиного телефона? Скорее, за ненадобностью. Когда видишься почти ежедневно, звонить необязательно. Так уж у них повелось: если очень надо, ждешь на улице, а не очень — заходишь еще раз.

Сейчас ему ничего не оставалось, как отправиться к Губерам. По дороге поиграть в игру: «узнаю — не узнаю». Вот тот дом помню, а этот забыл. Нет, этот тоже помню, но бомбы совсем его покалечили.

До войны ленинградцы казались ему невзрачными. Вот идет какой-нибудь служащий Ленгаза мимо пышных особняков. Сразу ясно, что он здесь по ошибке. Что навсегда тут только Растрелли и Росси.

Теперь город и люди стали похожи. Всем досталось, и каждому нужно участие. Правда, общее настроение благоприятное. Людей, может, меньше, но улицы не пусты. Чаше всего спешат по делам, но кто-то прогуливается. Порой не в одиночку, а парами.

А уж как Барбарис обрадовался, когда встретила компания. Вместе шли не двое, а четверо. Один громко разговаривал и даже размахивал руками. Он уже забыл, как это бывает: все же пять лет его учили вытягивать руки вдоль тела или держать в них автомат.

Наш преподаватель приближался к дому Губеров, и его настроение улучшалось. Вот наконец знакомая дверь. На ней та же медная табличка — хотя она пережила войну и ссылку хозяина, но не потеряла своего блеска.

После ареста Петр Константинович нигде не упоминался, но табличка ничего не скрывала. Так прямо и говорила: «П. К. Губер», словно он все еще известный литератор, а не политический ссыльный.

Почему табличку не постигла участь того, чье имя она носит? Видно, просто не дошли руки. Зато друзьям и соседям мерещилось обещание: «Сейчас его нет дома, — так они читали эту надпись, — но он обязательно вернется».

Барбарис приложил палец к звонку и нажал изо всех сил. Видно, звонок его помнил и откликнулся знакомым треньканьем.

В это время в квартире что-то происходило. Кто-то долго ходил, а потом отстегивал цепочку. Борис Александрович поправил гимнастерку и выпрямился перед дверью, как перед зеркалом.

Вскоре дверь открыл человек в военной форме. Это был не Петр Константинович и не кто-то из его сыновей, но ощущение было такое, что его ждали.

Бориса Александровича жестом пригласили войти. Он сделал несколько шагов и огляделся. Все вроде знакомо, но что-то не так. Куда-то подевались шкафы, стулья, столы. От библиотеки остались пустые полки. Видно, их тоже должны были увезти, но еще не успели этого сделать.

Наш будущий преподаватель увидел в руках военного Сашину телефонную книжку и окончательно пал духом.

Конечно, это была та самая книга. Когда-то они купили две одинаковых в магазине на Невском. Его приятель выбрал коричневую, а он зеленую.

Военный спросил имя и фамилию и стал медленно переворачивать страницы. Посмотрел раз, потом еще. Не нашел ничего среди записей и принялся искать между строк.

На его лице читалось разочарование. Тогда он попробовал подойти с другой стороны — спросил номер телефона и стал снова листать. Дошел до последней страницы и отложил книгу в сторону.

Скорее всего, военный думал о том, что все же они не какая-то банда. Велено руководствоваться телефонной книгой, и он это требование исполняет.

Если бы брали всех, кто сюда приходил, не было бы никаких проблем. Даже этот юноша признал бы свою причастность. Уж вы не сомневайтесь! Все они сперва отмалчиваются, а применишь силу — прямо сыплют фамилиями.

Словом, кто только не признавался. Тут же компания особая. Эти только и делали, что разговаривали. Причем если бы обсуждали роман, получивший Сталинскую премию! Интересовались иностранным, да к тому же норовили прочесть в подлиннике. С этой целью упражнялись в знании языков.

Если мы заглянули в голову военному, то надо сказать и про такую дилемму. Казалось бы, если уж очень надо, впиши телефон сам! Кто-нибудь так и сделает, но у него есть принципы. Он тут не для того, чтобы увеличивать очередь, а ради того, чтобы ее соблюдать.

Военный поразмышлял, вновь повертел книжку и сказал Барбарису: «Идите». Это не значит, что его тут же вычеркнули. Напротив, где надо, появилась пометка: а вдруг им придется встретиться еще?

До дома наш преподаватель едва не бежал. Все ждал, что к нему подойдут, возьмут под руки, попросят в машину. Мол, не желаете ли прокатиться? По крайней мере, в одну сторону обещаем комфорт.

Барбарис вошел в квартиру, зажег свет, лег на диван. Первая мысль была о том, что Саша, наверное, тоже не записал его номер. Так что случись с ним такое, он бы тоже спасся. Это ли не подтверждение, что близкие люди всегда действуют сообща?

Сколько раз пуля пролетала рядом, а он думал: «Не моя». Что-то такое случается и в мирной жизни. Казалось бы, в западню может быть только вход, а вдруг обнаруживается выход. Сам не веришь тому, что оказываешься на свободе.

Как-то наш преподаватель цитировал Мандельштама: «Чудовищна, как броненосец в доке, / Россия отдыхает тяжело». Когда наступила оттепель, стало ясно, что не такая она железная. Запели птички, потекли ручьи. Даже из Большого дома просачивалась информация. Барбарис узнал, что старший Губер умер в лагере, а Саша после войны попал в тюрьму. Так что не зря была эта телефонная книга — записанные в ней люди составили созданную его другом организацию.

Вот на этом я закончил рассказ. Можно было оглядеться по сторонам. В основном пассажиры тихо беседовали. Видно, обсуждали что-то незначительное. По крайней мере, только я повышал голос и размахивал руками.

Я подумал, что было бы правильно, если бы эти люди тоже узнали историю Барбариса. Интересно, как они будут реагировать? Наверное, кто-нибудь спросит: «А где это — Петербург?», другой же не к месту вспомнит Эрмитаж.

Нет, лучше оставить их в покое. Про Питер я еще объясню, а как рассказать про шарманку? Про то, что сто раз она исполнит одну мелодию, но однажды случится сбой, и тогда мы сможем передохнуть.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

На сцене и вне сцены

Чтобы исповедовать культ прошлого, надо быть молодым. Ведь тут нужно воображение. Представьте, Вальтер Скотт сидит за столом, целит перо в бумагу и думает: «Кто сегодня погибнет, а кто избежит опасности?» В нем спорят чувство и долг. Долг велит следовать за фактами, а чувство говорит: то, что ты выдумаешь, будет лучше реальности!

Где-то с него спросили бы: король сказал не это, а то! А посмотрите, как он у вас одет! Где его любимая шляпа, которую упоминают источники!

Все это не смущает ни романиста, ни его читателей. Пусть герои говорят то, что придет в голову автору. Что касается шляпы, то к черту шляпу! Куда эффективней, когда голова непокрыта и волосы развеваются от ветра.

Вот почему никто из ловцов блох не удостоился памятника, а монументы автору «Айвенго» стоят по всей Шотландии. Один из них находится в Глазго на Джорджсквер. В центре колонна с писателем на вершине, а вокруг десятков скульптур поменьше. Военный, выигравший битву при Балаклав... Участник войны с Наполеоном... Премьер-министр, которого никто не помнит по имени... Эта компания существует для того, чтобы мы знали: вот они, а это Он.

Значит, дело не в исторической точности. Куда важнее пример отношения к действительности. С легкой руки Вальтера Скотта Шотландия — это не то, что есть, но и то, что, возможно, было. Здесь ко всему примешивается память о легендарном прошлом. Да хотя бы к ровно подстриженным полям. Шотландцы смотрят на них, и пейзаж продолжается в историю страны.

Может, потому здесь поняли Берсудского? Он ведь тоже сочинитель. Вот как лихо у него получается — возьмет вполне реалистические утюг или кастрюлю и сотворит нечто невозможное. Точнее, возможное лишь там, где этим предметам предстоит жить.

В Шотландии «белых ворон» называют «черными овцами». Их не побивают камнями и не пытаются наставить на истинный путь. Чаще всего называют художниками. Впрочем, можно не писать романы и не делать кинематы. Хватит того, что вы не такой, как все.

Кстати, почему «черные овцы»? Если белые вороны — это оксюморон, нечто почти невозможное, то черные овцы существуют. Конечно, светлых больше, но такие тоже встречаются. Хотя бы по две-три особи на стадо.

Таков первый урок, который Вальтер Скотт преподавал согражданам. Сочиняйте, господа! Если хотите доказать, что существуете, сделайте что-то, что отличит вас от других.

«Черная овца» на то и черная, что сразу бросается в глаза. Отсюда — многочисленные соблазны. Вы видите реакцию и начинаете подыгрывать. С этим связан второй урок. Жить надо не только той жизнью, что у всех на виду, но и той, что внутри.

Речь прежде всего о личном пространстве. О том, что каждый из нас носит с собой (или в себе), и о том, что является местом вашего проживания. О ком-то говорит дом или квартира, а о Вальтере Скотте — имение.

Оказавшись тут, сразу вспоминаешь Пушкина. Хотя квартира на Мойке — не худший вариант, но все же не замок. Ни тебе оборонительных башен, ни коллекции оружия, ни собственной церкви.

Кстати, зачем писателю оборонительные башни? Вряд ли на случай осады критиками и поклонниками. Наверное, это знак того, что тут живет исторический романист. Кому-то важна современность, а его мысли занимают давно завершившиеся споры в королевском семействе.

Так что без башен ему никак. Как бы вы узнали, что хозяин вроде как живет в истории? То есть он, конечно, тут, вместе с детьми и супругой, но в то же время в мире рыцарей, трактирщиков и аббатов.

Каково находиться внутри своих текстов! Ощущать шотландскую историю все равно что дом. Не дом как таковой, а твой собственный. Тот, в котором живешь ты и в то же время твои персонажи.

О личном пространстве говорит и памятник на эдинбургской Принсесс-стрит. Башен тут нет, но есть колонны. Они с четырех сторон держат крышу, а выше поднимается шпиль.

Это не замок, а, скорее, храм. Ну а в нем писатель — главная святыня. Потому и решено ему больше, чем героям других монументов. Те едва не позируют перед прохожими, а он расположился по-домашнему. Голова чуть вскинута, в руке перо. Ждет счастливой минуты, когда из его мыслей что-то произрастет.

Да, еще у его ног разлегся пес. Симпатичный такой дог, самых благородных шотландских кровей.

У меня скромный опыт наблюдения за известными людьми, но все же один пример могу привести. Как-то в бытность завитом я приехал на дачу к Владимирову. Оказалось, вечером ему надо в Ленинград. На предложение ехать в поезде Игорь Петрович только ухмыльнулся. Мы вышли на шоссе, он поднял руку, и сразу остановились пять машин. Все прямо-таки рвались везти такого пассажира.

Владимиров выбрал «Волгу», махнул рукой в сторону «москвичей», и мы поехали. Конечно, денег у него не взяли, но он расплачивался разговорами. Всю дорогу его расспрашивали о театре.

Приятно быть звездой, но при этом надо сохранять внутреннюю свободу. Это удалось Вальтеру Скотту в Эдинбурге. Прохожие его разглядывают, а он погружен в себя.

Как это связано с принципами шотландцев? Им тоже хочется быть первыми и лучшими, но не в ущерб частному существованию. Они смотрят на романиста, коротающего время с псом, пером и рукописью, и думают: если он отгородился, то, может, и я так смогу?

Отступление о частной жизни

В первые годы жизни в Глазго у Тани и Эда была квартира и всякие бытовые обязанности, но вроде как между прочим. Все время отнимала «Шарманка». Лишь недавно они озаботились «личным пространством» и даже решили этот вопрос практически.

В Герване был приобретен дом с садом. Если же иметь в виду, что в пяти минутах есть море, то с морем. Ну и, следовательно, с маяком. А также с тем, что они называют «пупочкой» — небольшим крутобоким островом, который при любой погоде виден на горизонте.

Вот чего им не хватало. Тишины, клумб с цветочками. Все это пришло как озарение. А затем прибавилось: мы кое-что понимаем в искусстве, но еще не знаем, что такое сад! И еще такая мысль: как, наверное, хорошо пройти вдоль берега. Кормить чаек и ждать, когда в воде мелькнет дельфинья спина.

Уж как Жаковская умеет во все внести ясность (об этом еще будет сказано), но существование в большом городе не бывает упорядоченным. Только в Герване наконец понимаешь, что такое правильно организованная жизнь.

Утром Таня спрашивает: «Покормил курей?», что означает: «Покормил птичек?», и они с Эдом расходятся по своим комнатам. Конечно, иногда встречаются и даже кое-что делают вместе, но при полном уважении чужого суверенитета.

Вот почему она сердилась, когда я говорил, что буду обедать только вместе со всеми. Да это же покушение на чужое время! А если ты проголодался, а другие нет? Что ж, бросить все только затем, чтобы составить тебе компанию?

Как видно, это у меня от детского сада. Именно там были получены первые уроки коллективизма. Все делалось сообща: ели, играли, ходили гулять. Только отвлечься на что-то постороннее и сразу получаешь подзатыльник.

Да и в пионерском лагере доставалось, и опять же не без причин. Такие, как я, только мешают. Представьте, все идет строем, а двое-трое постоянно спотыкаются.

Существует русская идея, и, наверное, есть идея английская. На эту роль может претендовать английский газон. Триста лет травинки подтягивались, старались держаться одной линии и все же образовали ровную поверхность. Так здесь формируются внутренние правила. Они не являются готовыми, а вроде как прорастают.

Если в России предпочитают коллективность (прежде сказали бы — «соборность»), то здесь ценят «privacy». Частная жизнь тут регламентирована едва ли не больше, чем у нас общественная. Такое положение утверждалось долгое время и наконец стало нормой.

Словом, существует право на разные свободы, а есть право на «личное пространство». Вы его не лишаетесь, даже обзаведясь семьей. Разрешается иметь секреты не только от жены или мужа, но собственный бюджет. Потому вы не прячете деньги за бачком в сортире, а гордо помещаете на счет в банке.

Многие наши привычки шотландцы воспринимают как покушение на «отдельность». Например, манеру заходить в гости без предупреждения. Для того чтобы это сделать цивилизованно, надо долго вести переговоры. Когда все условия будут согласованы, вам назначат день и час.

Ну и людям, страдающим диабетом, здесь живется легче. Вообще-то, я не люблю говорить на эту тему, но в Шотландии иначе нельзя. Это первое, о чем следует сказать официанту. Если он проигнорирует вашу информацию, то в другой раз вы встретитесь в суде.

Существуют глобальные права, но есть такие крохотные, как право на болезни. Или упомянутое право иметь заначку. Если следовать этим принципам, то вас перестанут «доставать» (говорят, это слово произошло от фамилии Достоевского). Ну и вы не будете вести изматывающих разговоров.

Вот почему здесь любят Оскара Уайльда. Прямая спина, взгляд через монокль, каскад уколов... Вот действительно воплощение отдельности! Такого человека в России назвали бы лишним, а тут он самый необходимый.

Эти принципы распространяются не только на подобных людей. Если вы не высокомерный денди, а, к примеру, ворона, ваша независимость будет защищена.

Да, да, ворона. Причем не какая-то прикормленная, а живущая сама по себе. Где-то в других местах ваша свобода является приговором — если вы перестаете летать, то вам не поможет никто.

В шотландском «Обществе по предотвращению жестокости к животным» решили, что все живое может рассчитывать на понимание. Пусть вы жили как вольная птица, но стоит вам заболеть, вас будут лечить так же, как самую благополучную кошку.

Как это происходит? Вы идете по улице и видите больную ворону. Прижатые к телу крылья чуть подрагивают. В глазах читается: я уже не надеюсь на помощь. Сколько наших соплеменников погибли потому, что люди считали себя выше животных.

На сей раз будет иначе. Вы говорите: «Потерпи, друг» — и набираете телефон. Затем появляется «скорая помощь». Где больной? Вот он убегает. Совсем не верит в то, что ему желают добра. Что ж, врач не гордый. Поймает, перевяжет лапку. Если помощь больше не требуется, отпустит восвояси.

Как видите, в Шотландии не считают независимость достоянием немногих. Потому у здешней вороны гордыни не меньше, чем у Оскара Уайльда. Вот как вытягивает шею, крутит головой! Что ж, право имеет. Еще утром ей казалось, что все пропало, но тут явился Бог на машине, и силы появились опять.

Менеджер и художник

Жизнь в Глазго рассчитана по минутам, а в Герване времени слишком много. Состояние — расслабленное. Люди ленятся ходить по улицам и предпочитают сидеть дома. Появятся один или двое прохожих — значит, в холодильнике кончилась еда, и они спешат в магазин.

Таня всегда найдет собеседников. Можно поговорить о «Шарманке», садовом хозяйстве, местной администрации. Я уже не удивлялся, что все тихо ждут поезда, а она уже с кем-то беседует.

Следовательно, Герван — это мы сами. Надо только захотеть, и город станет не тихим и маленьким, а шумным и большим.

В отличие от жены, Эд больше молчит. Куда красноречивей он в своих работах. Причем не только в тех, что создаются из дерева или железа. Случается, что-то напишет. Эти заметки, конечно, не кинематы, но что-то общее есть.

Очень важно одно признание. Оказывается, он режет из дерева птиц и животных, а представляет людей. Бывает и наоборот. В одном его тексте Таня — лошадь, а в другом — пчела. Нечто громоздкое — и практически невесомое. Правда, в каждом из этих обликов она занята тем же, что и всегда: связывает, уговаривает, пытается сделать лучше.

«Я обратился за помощью к своей артели, во главе которой стояла лошадь по имени Татьяна — обыкновенная лошадь с четырьмя ногами, одной головой и одним хвостом, но с абсолютно нечеловеческими способностями. Она гениально координировала усилия человеческих душ, в том числе — душ усопших. Кроме того, она лихо стучала копытами по тому, что позже получило название компьютера, вела бухгалтерию, лаяла на заказчиков, таскала бревна и по ночам читала Бердяева».

А это из письма Тиму Стэду (осталось немного, и о нем будет глава). Много лет нет на свете автора лучших в мире столов и стульев, а Эд с ним не наговорится. Рассказывает о жизни и задается вопросами вроде такого: «Кстати, сообщи, на какой звезде ты обитаешь? От Сатурна направо или налево?» Вот тут он сообщает, что «Татьяна превратилась в пчелу. Летаёт по саду, сажает, пересаживает, удобряет, вскапывает, опыляет. Кормит птиц, и иногда мне перепадает».

Следует сказать, что все так и есть. Имеют место и усилия тяглового животного, и скорости повсюду снующего насекомого. Эти свои заботы Таня называет «менеджментом». Что касается ее прежних занятий — режиссуры и критики, то она о них вспоминает редко. Зачем писать статьи или ставить спектакли, если можно организовать саму жизнь?

Если у Тани что-то не выходит, она мрачнеет и погружается в себя. В ее «Я решаю эту проблему» нет ничего похожего на чиновничью отписку. Скорее вспоминаешь божественное: «Да будет свет».

Вновь повторяю — круг ее забот очень широк. Прежде всего «Шарманка». Постоянно чреватые ремонтом произведения Эда. Ну и дом с садом. Здесь надо быть особенно внимательным. Уедешь дня на два, а тля тут как тут. Берешь опылитель, и растения снова цветут и пахнут.

Вместе с насаждениями в саду выросли постройки — в одной находится мастерская Эда, а в другой Танин «офис». Так она именует большой куб, открывающийся с двух сторон. Это именно то, что нужно для ее астмы: тепло, сухо, воздух гуляет свободно. К тому же возникает отличная перспектива: работаешь за компьютером, а краем глаза наблюдаешь за жизнью мужа и сада.

Все было бы отлично, если бы не извечный конфликт менеджера и художника. Все же одно дело — ее чувство реальности, а иное — его полеты наяву. Есть о чем пошуметь! Эти перебранки заканчиваются одинаково. Покричат-покричат, и все же Эд примет точку зрения жены.

Об этом рассказывает кинемат «Никодим». Почему эта фигура названа не Эдуардом? Наверное, потому, что тут нет ничего портретного. Что-то железное при сложении образовало голову, руки и ноги. Изображены и органы — например, там, где должны находиться легкие, булькает вода в линзе от старого телевизора.

На голове Никодима что-то вроде тарелки, которую можно считать шляпой. На ней сидит маленькая птичка и хлопает крыльями. У вышесидящей голос тонкий и вроде как извиняющийся, а у нижестоящего грубый и резкий.

Птичка, что называется, «капает на мозг», но Никодим не отступает. При этом, как вы понимаете, они неотделимы друг от друга, а значит, этот спор навсегда.

«Никодим» был последней работой Эда в России. В Шотландии он вряд ли бы сделал такой кинемат. Конечно, и сейчас они с Таней ссорятся, но все же не так. Возможно, сказывается возраст. А еще то, что много лет они живут в стране, где отдельность ценится больше, чем сходство.

Под ее руководством

Нам, мужчинам, трудно без такого руководителя, но при этом так и тянет показать самостоятельность. Каждый раз это заканчивается если не провалом, то большой неловкостью.

Как-то я пошел с Эдом погулять вдоль моря, и на нас напала большая овчарка. Испугались мы, затем собака, потом ее хозяева. Домой возвращались как герои и еще несколько дней делились впечатлениями.

Иначе говоря, Берсудскому без Тани не обойтись. Не только потому, что при ней собаки ведут себя тихо. Не менее важно, что за тридцать лет жизни в Шотландии он не выучил английский. Когда надо что-то сказать, из-за его спины выходит жена и все объясняет.

Не все принимают эту его странность. Как-то в Галерее современного искусства в Глазго королева Елизавета захотела увидеть автора «Титаника». Таня сказала, что познакомиться можно, а поговорить никак. Королева строго взглянула из-под своей вечной шляпы с полями и чуть ли не топнула ножкой.

Мало того, что Эд не говорит по-английски, но и у меня с языками проблемы. Непросто передвигаться в таком составе. Когда мы отправились в Эдинбург, Таня написала что, где и когда. Например, в автобус садитесь в одиннадцать двадцать, а выходите через пятнадцать минут.

Для людей, страдающих географическим кретинизмом, такая инструкция спасительна. Когда нам хотелось свернуть направо, мы вытаскивали бумагу. Оказывалось,

не вправо, а влево. Так повторялось множество раз. Наверное, мы бы и сейчас бродили по городу, если бы не ее план.

Тем удивительней, что мы потерялись. Ну а она, конечно, нас спасла. История эта настолько выразительная, что ее надо рассказывать медленно.

Дело в том, что Таня оставила нас вынужденно. В это время знаменитый английский актер Саймон Кэллоу (тот самый, что играет в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны») устраивал ланч для своих друзей. Берсудского тоже звали, но как с ним разговаривать? Вот почему Эда прикомандировали ко мне.

На ланч пригласили двух руководителей театральных фестивалей, что директору «Шарманки» тоже небезразлично, но все же важнее удовольствие зрителя. Увидеть Кэллоу в ресторане так же интересно, как на сцене. Хотя за столом он отдыхает от своих ролей, но иногда делает такой жест, что сразу ясно: да, это талант.

Перед ланчем Саймон играл спектакль по уайльдовскому письму из тюрьмы. Его Уайльд не был застегнут на все пуговицы и не цедил репризы через губу, а метался и взывал к богу и черту. В ресторане взбешенный и обиженный герой исчезал и превращался в одного из самых ярких английских интеллектуалов. Начинались разговоры о Михаиле Чехове, о Юрсом, о Додине. И, конечно, об Уайльде. А если об Уайльде, то о человеческих страстях.

Кэллоу не просто интеллектуал — человеком думающий, но писатель — человек записывающий. Притом не из тех, кто говорит о себе — и ни о ком больше, но любитель распутать давно завязавшиеся узлы.

Нет ничего противоположней существованию в лучах рампы, чем сидение в архиве. За свой интерес ты не получишь аплодисментов и даже простой благодарности. Откроешь что-то важное, порадуешься удаче и продолжишь поиски.

Когда жизнь для зрителя Саймона утомляет, он обращается к старым документам. Горит лампа, бумага отсвечивает желтым, прошлое с тобой разговаривает... Так он сочинял книги о Диккенсе и Орсоне Уэллсе. Об Уэллсе целых три тома! Театральные люди их вряд ли прочтут, а он их написал. Показал, что голова актера не только в руках и ногах, но и там, где ей следует находиться.

Вот такой он разнообразный, этот Кэллоу. Настоящий амбидекстр. То есть столь же правша, сколь и левша. Человек, равно хорошо себя чувствующий наедине с собой и со зрителями.

В наших краях такой уровень демонстрировал Сергей Юрский. Может, только в архивах он не работал, а все прочее ему было под силу. Кстати, Таня очень хотела их познакомить, но что-то не сложилось.

Об этом я говорю для того, чтобы подчеркнуть, как ей не повезло. Вот она отключила мобильник, расслабилась, превратилась в слух и зрение. Когда же под конец встречи мобильник включила, то сразу раздался звонок...

Сперва надо сказать, что в это время мы с Эдом завершали поход по Национальной галерее Шотландии. Оставалось забрать в гардеробе его рюкзак.

Кто же знал, что у гардероба не один, а два выхода! Первый ведет туда, где его ждал я, а второй на другую сторону здания. Эд рванул туда, где меня не могло быть. Стоит, волнуется. Ну и я переживаю. Ситуация едва ли не тупиковая. Это у Лобачевского параллельные прямые пересекаются, а в жизни это случается редко.

Наконец Таня узнала о том, что случилось, и помчалась нас спасать. Жаль оставлять интересный разговор, но такова ее миссия. Большинство людей заняты собой, а она другими.

Думаю, следующая история вас уже не удивит. Мы собирались на озеро Лох-Ломонд. Спускаемся из «Шарманки», видим машину Таниного сына Сережи, на которой

ездили два дня подряд. Открываем багажник, загружаем вещи. Немного удивляемся, что багажник забит, а вчера был свободен.

Тут из-за угла появляется человек. Кажется, он не шотландец, а итальянец. Ведь шотландцы не размахивают руками, а этот размахивает и быстро говорит. В голосе преобладает восхищение. Вот, думаю я, первая встреча с поклонником! Видно, он объясняет, как приятно видеть автора кинематов.

С каждой фразой темп нарастает. Только что он не знал, куда деть руки, а сейчас едва не танцует. Может, мы бы и заподозрили неладное, если бы он не улыбался. «Вы сделали мой день! — говорила его улыбка. — Если день так начался, дальше все пойдет как по маслу!»

Появилась Таня и все прояснила. Сережина машина стояла рядом, а мы загрузились в чужую. Еще хорошо, ею не воспользовались. А так бы сели — и ищи-свищи! Если бы, конечно, не задержала полиция.

О рассеянности Эда сказано достаточно, а теперь поговорим о том, какой он трогательный.

Опять вспомним Юрского. Как-то он заехал в Глазго и даже давал в «Шарманке» концерт. Перед отъездом сидели-выпивали. Всем было так тепло, что он предложил Эду перейти «на ты».

Сергей Юрьевич объяснил, что для этого следует сделать. Сперва надо выпить на брудершафт. Если затем произнести: «Ты — говнюк!», то это снизит торжественность момента.

С первой частью они справился легко, а на второй Эд затормозил. Слишком многое у питерских связано с Юрским. Если в семидесятые годы вы интересовались театром, то прежде всего из-за него.

Вот почему Эд испытывал смущение. Юрский сидел на расстоянии протянутой руки, но дистанция была непреодолима. Казалось, гость играет на сцене, а он находится в зале.

Теперь понимаете, почему Эд замер — и ничего не сказал. Следовало прожить ночь с этой идеей и тогда решиться.

На другой день Юрский ехал в аэропорт. Когда появился Берсудский, он уже сидел в машине. На сей раз все вышло как нельзя лучше — Сергей Юрьевич открыл окно, чтобы поздороваться, а Эд крикнул: «Ты — говнюк!»

Все это я рассказываю к тому, что автор кинематов существует в своем ритме. Не быстро и не медленно, а так, как велит чувство. Вряд ли кто-то сможет его поторопить. Здесь нужны спокойствие и терпение.

В тот приезд Сергей Юрьевич надписал свою книжку: «Татьяне Жаковской в честь ее победы над всеми обстоятельствами мой привет и поцелуй в день рождения в г. (надо же!) Glasgow. 25.10.99». Так он высказался по поводу того, что они все преодолели. Прежде всего она. Эд делал кинематы, а Таня все повторяла: «Я решаю эту проблему» — и наконец проблема была решена.

ИНТЕРМЕДИЯ ВТОРАЯ. СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ, ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

О смерти Юрского я узнал буквально посредине фразы. Только написал: «Еще в тот приезд Сергей Юрьевич...», заглянул в фейсбук и прочел о его уходе. Для всех питерцев, населяющих эту повесть, — для Тани и Эда, да и для меня, автора, — это событие столь огромное, что невозможно говорить ни о чем другом.

Да и другие ни о чем другом говорить не могут. Френдлента переполнена фотографиями и воспоминаниями... Так бывает во время поминок. Кажется, что пока мы говорим, перебивая друг друга, что-то можно изменить.

Таня — по своей привычке прирожденной домостроительницы — сразу начала строить дом. Ее нынешняя постройка — сайт памяти Юрского. Странно, что не в Питере или Москве, а в далеком Глазго возникает этот интернет-мемориал.

Видно, это значит, что мы живем в одном пространстве. Когда по обе стороны земного шара чувствуют одинаково, то расстояния перестают существовать.

Мне тоже следует сказать несколько слов. Тут важны воспоминания, но еще существенней чувство причастности. Дело в том, что в Питере семидесятых годов это имя звучало как пароль. Ты называл своего любимого актера, и больше ничего не нужно было объяснять.

Как известно, Станиславский говорил о «Я в предлагаемых обстоятельствах». На сей раз «Я» — это Сергей Юрьевич, а «предлагаемые обстоятельства» — наша общая жизнь.

Вряд ли я что-то новое скажу об обстоятельствах. Что может быть особенного в шарманке, повторяющей один мотив? Если чем-то эта история отличается, то поведением героя. Он оставался собой не раз и не три, а всегда.

У каждого свой сюжет отношений с Юрским. Что у меня, что у Тани и Эда. Для них он — не только любимый актер, но человек схожей судьбы. Многие ругали шарманку, не соглашались с музыкой и словами, но мало кто совершил поступок. Не имеет значения, что Сергей Юрьевич уехал в Москву, а они — в Шотландию. Главное, с этих пор жизнь разделилась надвое.

Нехорошая эпоха

Недавно я искал какую-то книжку у себя на полках, потянул одну, вытащил сразу две, и из той, что мне не нужна, выпала бумажка. Видно, когда-то она служила закладкой. На ней я прочитал:

Ленинградский обком КПСС
Тов. Ласкин А. С.
приглашен на объединенный пленум правлений творческих союзов Ленинграда.
Смольный, Актный зал.
24 сентября 1976 г., 13 час.

Тысячу лет я не вспоминал об этом, как вдруг все увидел отчетливо. Прежде всего зал Смольного с огромным портретом Ленина работы Бродского. Владимир Ильич кого-то приветствовал (не исключая участников здешних собраний) и при этом улыбался своей доброжелательно-хитровой улыбкой.

Мои ощущения были похожи на те, что испытал писатель Меттер, присутствовавший на собрании, на котором уничтожали Зощенко и Ахматову. Израиль Моисеевич написал, что, оказавшись в этом зале, он вроде как «вошел в цитату» — настолько узнаваемыми были здешние интерьеры.

В это время мне было двадцать лет, не так давно я стал завлитом малой сцены театра Ленсовета. Игорь Петрович Владимиров, большой любитель неординарных решений, взял на работу студента третьего курса. Сейчас никто бы не обратил на это внимания, но тогда многие недоумевали.

Находиться здесь следовало Владимирову или директору, но они уехали на гастроли. Было решено, что будет неправильно, если никто не пойдет, и отправили меня.

Конечно, собрание в Смольном было мне «не по чину». Да и не по возрасту. Моя шевелюра выделялась на фоне большого количества лысин. Эти люди пережили террор, блокаду и эпоху борьбы с «безродными космополитами», а я еще не испытал ничего.

Мою принадлежность к числу аутсайдеров подчеркивало и отсутствие галстука. Кажется, я единственный из присутствовавших мужчин пренебрег этим атрибутом солидности. Но что поделаешь, если галстуки я не люблю. Никогда их не ношу и на сей раз себе не изменил.

Сам себя ловлю за руку: а как же случай в райкоме партии? Да, соглашаюсь с собой, что было, то было, и вскоре мы об этом поговорим.

Пока же вернемся в Смольный. Не буду описывать, сколько раз требовалось показать паспорт. Понятно, что эта процедура предполагает очередь. В ней я стоял вместе с известными в Питере людьми. Кое-кто был мне знаком. Если бы это происходило в другом месте, мы бы улыбались друг другу, а сейчас сухо кивали.

Было в этом что-то от собрания масонской ложи. На лицах читалась гордость за то, что они не просто писатели, артисты и музыканты, а вроде как представители.

Наконец все вошли и расселись. Не помню, что происходило вначале. Наверное, обычные для такого собрания вопросы — кто, когда и в какой последовательности. После этой преамбулы на трибуне появился Григорий Романов.

Нынешний читатель больше знает Александра и Николая Романовых, а Григорий совсем забыт. А ведь из-за этого человека, возглавлявшего ленинградскую партийную организацию с 1970-го по 1983 год, из города уехали Райкин, Юрский, Яновская и Гинкас. Сделал ли он что-то еще, уже никто не вспомнит, а это останется навсегда.

Романов был маленький и круглый. Было интересно наблюдать, как он взмахивает руками и Ленин за его спиной тоже взмахивает. Так они и существовали в унисон — Владимир Ильич улыбался, а этот смотрел скорее мрачно.

Если вы считаете, что советская власть несовместима с игрой, то я постараюсь вас разубедить. Уж насколько серьезен был Григорий Романов, но его выступление предполагало интерактив.

Поначалу не было ничего интересного. То-то совершили, там-то поучаствовали, в том-то приблизились к осуществлению вековой мечты. Зал это слушал вполуха. Стоило же перейти к имеющимся недостаткам, как все насторожилось.

Начал он с того, что «группа антисоветски настроенной молодежи передала в „Лен-издат“ альманах „Лепта“».

Да, была такая идея у неутомимого Бориса Ивановича Иванова — составить сборник из текстов непубликующихся литераторов, принести его в издательство и посмотреть, что из этого выйдет.

Что ж, результат оказался значительным. Первый человек города не только упомянул об этом, но сердито посмотрел на участников собрания.

Теперь можно было переходить к другим темам, как тут раздался голос: «Не слышу!» Это было невиданной дерзостью. Казалось, сейчас нарушителя дисциплины возь-

мут под руки и выведут из зала. Правда, выступающий не только не выразил неудовольствия, но решил уточнить.

«Повторяю по буквам, — сказал Романов и произнес что-то вроде: — Леонид... Елена... Петр... Трофим». Самое главное было оставлено под финал. Последнюю букву он расшифровал как «Аврора».

Затем оратор перешел к этому журналу. Вроде и не собирался, но товарищ из публики подсказал, и дальше пошло-поехало.

Особенно невыносимым было то, что, оттолкнувшись от «Авроры», Романов приложил моего любимого поэта. Он сказал так: «Поэт Александр Кушнёр в своем стихотворении „Аполлон в снегу“ пытается протащить...» Что-то там Александр Семенович протаскивал нехорошее. Такое, от чего может зашататься гигантское здание империи.

Особенно запомнилось неправильное ударение. Это было все равно что сказать: «Кушнер, еврей». А еще прибавить, что этим объясняется то, почему этот потомок «овцеводов, патриархов и царей» чувствует себя в нашем климате как Аполлон в снегу.

Я, кстати, сидел в последних рядах и все слышал отлично. Так что есть смысл вновь вспомнить «человека с плохим слухом». Ясно, что эти «перформансы» предполагают подготовку. Так и вижу репетицию с участием Романова. На ней кто-то вроде режиссера предложил: «Может быть, так?», а «исполнитель» эту идею поддержал.

В это время была произнесена фраза о том, что «надо спорить по решенным вопросам». Так было сказано в ЦК партии тогдашнему руководителю ленинградского телевидения Борису Фирсову после того, как он разрешил первый в СССР прямой эфир.

Как и положено, передачу долго репетировали, все оценки и мнения были согласованы, но потом кто-то соблазнился новой возможностью и произнес то, чего не следовало говорить.

Вот почему «надо спорить по решенным вопросам». И играть в такие игры, в которых победитель заранее определен.

Все, о чем я сейчас рассказал, это, конечно, присказка. Чтобы вы еще раз оценили, в какую нехорошую эпоху мы жили.

Юрского на собрании не вспоминали, и это вполне соответствовало его тогдашнему положению. Неприятности у него начались с того, что его вроде как вычеркнули. Если по радио называли поставленный им спектакль, то без имени режиссера. Его вроде как предупреждали: сейчас не такое время, чтобы арестовывать, но настроение можем испортить.

Как известно, инициатором травли Сергея Юрьевича был тот самый маленький человек, который стал невольным конкурентом Ленина на портрете. Он был хозяином Ленинграда — и от него зависело, кому можно жить в этом городе, а кому нет.

Представитель зрительного зала

Надо знать, кем был Юрский для нас. Хороших актеров в это время хватало, но никто из них не был настолько свободен. Вот выходит человек на сцену, и сразу видно — да, он такой. Не исполнитель чужих заданий, а самостоятельный творец.

Отдельность свидетельствовала не об одиночестве, а, напротив, о тесных связях с публикой. В «Горе от ума» — его первой большой удаче — он рассказал историю своего поколения. Это была история людей «оттепели», чей «век», говоря словами Тынянова, «умер раньше них».

Эта тема была объявлена еще до начала действия. На занавесе Товстоногов поместил пушкинскую фразу: «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом», но ее велели убрать. Это было не так обидно, потому что эту тему Юрский играл.

Как Сергей Юрьевич этого добивался? Ведь тут не было никакого «осовременивания». Чацкий не носил джинсы и черный свитер, как Высоцкий-Гамлет, но при этом был узнаваем. Это был человек начала девятнадцатого столетия, и в то же время один из нас.

Разумеется, мы были ему благодарны за понимание. Каждый это делал так, как чувствовал и умел. В последнем классе школы я был принят в члены «Общества юрскихистов», которое создала моя тогдашняя приятельница Катя Эткинд. Общество было тайное (по крайней мере, мы никому особенно о нем не рассказывали), и главным его смыслом была любовь к артисту. Мы смотрели все, что он делает, но главное, встречались друг с другом и говорили: все-таки он гений! Как замечательно он сказал это! А как ответил то!

Это чувство сохранялось и в последующие годы. Поэтому когда я узнал о том, что Сергей Юрьевич уезжает в Москву, мне захотелось сделать что-то такое, что пусть не изменит его решение, но хоть немного оттянет наше общее с ним расставание. Конечно, возможностей у меня было мало, вернее, всего одна: я стал говорить Владимиру, что было бы замечательно предложить Юрскому постановку.

Юрский и «Эльдорадо»

На столе у Игоря Петровича как раз лежала пьеса Аллы Соколовой «Эльдорадо», и он был не против того, чтобы она шла на малой сцене. Кто будет ставить? Назывались разные фамилии, но что они против того, кто недавно поставил «Фантазии Фарятьева» в БДТ? Так что конкурентов у Юрского просто не могло быть.

Стыдно признаваться в своих ходах и уловках, но, как говорится, «из песни слова не выкинешь». К тому же не забывайте, что это театр. А театр — это такое заведение, в котором царит диктатура. Поэтому если хочешь чего-то хорошего, сделай так, чтобы твоя идея приглянулась первому лицу.

Это и есть основная задача завлита. Актер обращается к зрительному залу, писатель — к читателям, а завлит — к главному режиссеру. В их разговорах наедине вырезают важнейшие планы и решения.

Чтобы чего-то добиться от Владимиров, следовало напомнить ему о его происхождении. Мол, самое время протянуть руку товарищу в беде. Сделать так, как подобает настоящему русскому дворянину.

Это сейчас я логично излагаю, а тогда действовал наобум. Руководствовался тем, что люблю Юрского. Впрочем, к Владимиру я относился столь же горячо.

«Шеф» (именно так в театре Ленсовета называли главного режиссера) Юрскому звонить не стал, но поручил мне организовать встречу.

Я, конечно, обрадовался, но в то же время смутился. Мне тут же представилось, как я звоню, а трубку берет Мольер или Фарятьев. Почему я так робел? По отношению к Игорю Петровичу я уже не ощущал себя зрителем (все-таки мы ежедневно делились), а в случае с Сергеем Юрьевичем зрительское преобладало.

Помог мой преподаватель по Театральному институту, литературовед и театральный критик Евгений Соломонович Калмановский. Он о Юрском не раз писал — и поддерживал с ним дружеские отношения.

Калмановский, как и Юрский, был человек отдельный. Их обоих отличали особенности интонирования, которые делали речь похожей на кардиограмму. Эта речь состояла из подъемов и спадов, из слов нарочито подчеркнутых и никак не выделенных.

Словом, Калмановский тоже играл. Его спектакли для одного или двух зрителей можно было увидеть где угодно — хоть в коридоре ВТО, хоть в очереди в кассу в Лавке писателей.

К примеру, Калмановский произносил не «Фрейндлих и Владимиров», а «Фрейндлихова и Владимирцев». Казалось бы, для чего это, а ведь в этом сочетании изысканности и простоватости, безусловно, есть резон. Или он спрашивал у моего отца: «Как наш мальчик?» Именно так, без мягкого знака. Столь же красноречиво выходило «Хоро-шо» — это было одобрение не формальное, а очень личное, которое можно выразить только так.

Однажды Евгений Соломонович пришел на спектакль на малой сцене, а после него расщедрился — и подарил свою книгу. Написал что-то одобрителное мне, а потом прибавил: «после упоительного спектакля». Я удивился, но обрадовался — все-таки проняли Самого! — и сразу об этом Игорю Петровичу рассказал. Кажется, тот тоже был доволен. Возможно, даже простил Калмановскому его прежние уколы.

Книгу я сразу прочел и поставил на полку. Лет двадцать пять не держал ее в руках. Вдруг она попалась мне на глаза. Открываю и вижу: «после упоительного спектакля». Снова нет одной буквы, а уже что-то другое. По крайней мере, о полном восторге не приходится говорить.

Словом, я обратился абсолютно по адресу. Юрский доверял Калмановскому, и вскоре день и время были согласованы.

Прежде чем рассказать о том, как Юрский пришел к Владимирову, два слова о месте действия. Кабинету Игоря Петровича, как знают все, кто в нем бывал, предшествовали большая комната и небольшой предбанник. Из предбанника дверь вела в туалет.

Когда Сергей Юрьевич появился, Игорь Петрович находился в туалете, где пытался отстирать пятно с лацкана своего лучшего пиджака. Так — с пиджаком в руках, одновременно продолжая тереть лацкан, он вышел навстречу Юрскому.

Сергей Юрьевич сразу оценил мизансцену и сказал после паузы:

— Игорь Петрович, вы привинчиваете новый орден?

По взгляду Владимира я понял, что мой план если не провалился, то скоро точно провалится. Игорь Петрович явно смутился. Все режиссеры, приходившие в его кабинет, начинали с расшаркиваний, и так продолжалось до конца разговора. Бывало, смеялись, рассказывали анекдоты и даже валяли дурака, но инициатором всегда был он.

Юрский был настроен благодушно и эту тему развивать не стал. Он сказал примиряюще:

— Орден у нас с вами примерно один и тот же.

Все-таки договоренность была достигнута. Правда, разговор протекал не без сложностей. Особенно нервно обсуждали то, кто будет играть главную роль. Юрский говорил, что видит в этой роли только Владимира, а Игорь Петрович настаивал на Алексее Розанове.

Все закончилось так, как это чаще всего бывает в театре. То есть не так, как подсказывает здравый смысл. Дело не в шутке Сергея Юрьевича (хотя она тоже, возможно, не поспособствовала), но в куда более серьезных причинах. Скорее всего, Игорь Петрович посоветовался с директором (или еще повыше), и ему все растолковали. «Своим» же Владимиров объяснил это так: Юрский, видите ли, требует, чтобы играл он, а ему хочется, чтобы эту роль сыграл Розанов.

«Эльдорадо» поставил другой режиссер. Кстати, сперва действительно репетировал Розанов. Казалось бы, все предвещает среднюю постановку. Кажется, Владимиров на это и рассчитывал — именно с такого уровня проще всего брать старт.

Игорь Петрович посмотрел чужую работу, произнес что-то одобрителное в адрес актеров и режиссера, а на следующий день назначил репетицию. Ну и потом работал столько, сколько нужно для того, чтобы о прежнем варианте спектакля напоминали только текст и декорации. Впрочем, декорации он тоже изменил — одно переставил, а другое убрал.

Главное, Владимиров ввел себя на главную роль. Так что встреча с Юрским не прошла даром — роль пожилого писателя, который пытается оглянуться на пройденный путь, он все же сыграл.

Самым незавидным было положение репетировавшего до этого режиссера, но ему на помощь пришел Игорь Петрович. На вопрос «Кто останется на афише?» он ответил так, как полагается русскому дворянину: «Конечно, на афише будете вы».

Что касается Юрского, то он с семьей переехал в Москву. В столице, как теперь понятно из его интервью и воспоминаний, его тоже не очень ждали, но все же это было лучше, чем Ленинград.

Через много лет после всех этих событий я рассказал Юрскому историю, о которой прочел в одной старой газете.

Дело в том, что мои занятия достаточно пыльные. Чтобы распутать исторический сюжет, перелистаешь множество газет. Процесс этот не только центростремительный, но и центробежный. Ищешь что-то конкретное, но постоянно отвлекаешься.

Можешь вообразить себя питерским обывателем, который купил у разносчика последний номер «Ведомостей». Что пишет прогрессивная печать? Вот, к примеру, заметка о «банных ворах». Этот подвид действует так: в предбаннике вы раздеваетесь, а вернувшись из парилки, не обнаруживаете своих вещей.

Затем рассказывается такая история. Приходит один вор (он же — ночлежник) вроде как помыться. Ему повезло, что в раздевалке вместе с ним только полицейский полковник. Он не переоделся в гражданское, а явился при всем параде. Еще сабля позвякивает на боку.

О том, что случилось после того, как полковник отправился в парную, вы уже знаете. Был военный чин, а стал «голый человек на голой земле». Даже простым гражданином его не назовешь.

Что касается вора, то он надел форму и превратился в полковника. В таком виде явился в ночлежку. Представьте, уходил вор и пьяница, а вернулся полицейский! Не только одежда на нем соответствующая, но и рычит он не хуже городского.

Вот он входит, оглядывает нары, на которых сидят и лежат его товарищи по судьбе, и как закричит:

— Всем встать!

Ночлежники слышат только голос и видят только форму и саблю. Потом все же разобрались. Или он сам себя выдал неуместным смешком.

Все сразу — хохотать. Что потом не помешало сдать товарища. Получил он и за воровство, и за спектакль. Правда, вторым сроком скорее гордился. Как-никак, минута славы, да и ощущение себя кем-то большим, чем ты сам. Только ради этого актеры играют на сцене.

Моя история Юрского и развеселила, и восхитила.

— Настоящий художник! — сказал он, — Так и надо — произвести впечатление, а затем отправиться по этапу.

Конечно, этап — это слишком, но платить приходится всем. Как Сергею Юрьевичу, так и Тане с Эдом. Помните: «Татьяне Жаковской в честь ее победы над всеми обстоятельствами...»? Видно, победа — это не орден в петлицу, а умение остаться равным себе. Сколько раз они это доказали! Возможно, будет повод еще. Как раз сейчас горсовет Глазго намеревается повысить аренду.

Об этом мы говорили на кухне «Шарманки»: а что если в Шотландии произойдет то же, что когда-то случилось в Ленинграде?

— Ну и пусть. — говорит Таня, — Тогда мы будем делать выставки и ездить с ними по миру.

Это и будет полная и окончательная независимость. Такая примерно, какой добился Сергей Дягилев. Когда он устал от российских ограничений, то отправился в свободный полет. Предпочел не подчиняться чужим правилам (именно это обозначает оседлость!), а создавать свои.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СТЭД

Убежище

Дягилев говорил: «Удиви меня!» Таким было его главное требование к соратникам. Кто не удивил, тот проиграл. В этом смысле шарманка — враг творчества. Если, конечно, это не название театра.

Можно привести другой пример. Точно не рассчитываешь удивить. Пишешь диссертацию. Руководствуешься принципом, который тебе объяснил один из твоих преподавателей: на каждой странице должно быть, по меньшей мере, две цитаты.

Поэт Виктор Соснора — любопытный человек. Он спрашивает о твоих занятиях, и ты объясняешь. Станным образом, ему интересно. И уж совсем невероятно, что он делает такой вывод:

— У меня есть друг — директор эстонского театра «Ванемуйне». Мы поставим вашу диссертацию в этом театре. Я буду играть в ней роль автора.

Надо видеть Соснору. Лицо римского патриция с явно подчеркнутыми линиями лица. Столь же чеканной была речь. Каждое слово отдельно от другого.

Поэтому возникало впечатление торжественности — пусть даже он говорил нечто совершенно несерьезное.

Теперь перейдем к дому Тима Стэда. Ни Дягилев, ни Соснора тут ни при чем, хотя вполне можно представить, как Сергей Павлович восхищается, а Виктор Александрович высказывается в том духе, в котором он часто говорил о себе:

— Путь русской поэзии лежит через Пушкина к Хлебникову и ко мне.

В данном случае понадобилось бы уточнение, а потому эта фраза должна была бы звучать так:

— Путь шотландской деревянной скульптуры лежит через деревянное убранство в часовне ордена Чертополоха в эдинбургском соборе Святого Джайльса к дому Тима Стэда в Бленсли

Вряд ли есть на свете еще одно такое «личное пространство». Вроде как художник поселился в своей картине. Настолько в этом доме все рукотворное — по сути, тут нет ничего, что бы хозяин не сделал сам.

Лишь однажды Тим уступил традиции: вилки с ножами он купил. Все-таки железо — не его материал, а кому нужны столовые приборы из дерева?

Уже говорилось, что в Шотландии больше всего природы, и Стэд верен этому соотношению. В его доме дерева столько, что может показаться, будто вы внутри него. Вроде как птица в дупле.

Как получилось, что ясени и березы в руках Тима стали столами и стульями, но не потеряли своих достоинств? Не стану утверждать, что они растут, но кое-что об этом свидетельствует.

Об этом еще будет сказано, а пока упомянем, что именно здесь Эд и Таня ощутили, что такое Шотландия. Они вошли в лес и чуть ли не хором воскликнули: «Комарово!» Это был последний аргумент в пользу нового местожительства. Еще, конечно,

сам Стэд. Два человека, занятых одним делом, это если не среда, то, по меньшей мере, компания.

Девятнадцать лет нет на свете Тима, но для Берсудского и Жаковской ничего не меняется. Главный человек для них по-прежнему он. Поэтому Бленсли в Танином плане был в первую очередь, а все прочее оставалось на потом. Даже поездка в Абботсфорд, к Вальтеру Скотту.

Мир Тима Стэда

Танин план — это очередность впечатлений. Она непременно сделает так, что мы ахнем, а потом ахнем еще. Ну а затем, когда выдохнем, сравним.

Конечно, дело не в масштабе. У Вальтера — усадьба, а у Тима — бывшая ферма в деревне. Главное, что эти пространства каждый из них придумал сам.

Уже говорилось, что Вальтер Скотт в Шотландии — все равно что Ленин в России. По крайней мере, по числу памятников они сравнились. Впрочем, мы сейчас о чем-то большем, чем количество. Если писатель создал идеальное жилище исторического романиста, то скульптор — лучший дом деревянного мастера. Тут и там угадывается связь жизни и творчества, мира воображаемого и реального.

Теперь откроем дверь и войдем. Как уже сказано, нигде больше такого не увидишь. Случается, хозяин выпилит полочку, но чтобы сам сделал стулья и даже раковину! Намылишь руки и вспоминаешь, как шел по дощатой пристани, а затем погружался в воду.

Невдалеке от раковины находится полка деревянных фолиантов. Это уже сделал не Тим, а его сын Сэм. Все честь по чести: обложка, корешок, фамилия автора... Берешь книгу и сразу понимаешь, что это пустышка — и продолжения не будет.

Так знаменитый «Фонтан» Мориса Дюшана вырван из привычных связей и опрокинут вверх тормашками. Он покинул тесное родное пространство и теперь существует самостоятельно. На правах картины или скульптуры.

Книги-обманки скорее исключение. Тим считает, что кровать — это кровать, а шкаф — это шкаф. Тут вы лежите, а там — вешаете пальто. Это не отменяет того, что любая его работа — скульптура. Просто скульптуры бывают двух родов. Одни возносятся на пьедесталах над жизнью, а другие жизнью являются.

С чем бы это сравнить? Например, трон — это и кресло, и художественный объект. В отличие от того предмета, что вывел на свет божий французский мистификатор, он не только не потерял достоинств, но их приумножил.

Что отличает тимовское кресло? В нем можно развалиться, но опираться вы будете на одну ручку. И не оттого, что вторая сломалась, а потому, что хватает одной. Не сетуем же мы на то, что у дерева мало ветвей!

Ну а спинку соединили две палки — одна больше, а другая меньше. Если бы это было магазинное изделие, то они бы вряд ли различались. Тим показал их в настоящем размере — такими, какими они подрастали в лесу.

Кровати у этого мастера гигантские, как пещеры. На обычную кровать ложатся, а в эту уходят с головой, подобно тому как прячутся на сеновале. Ну а письменные столы! Если бы за такими сидели люди пишущие, то они были бы смущены. Сложно рядом с чем-то абсолютно деревянным сочинять нечто картонное!

Столбы были не круглые и не квадратные. Будто в насмешку над способностью «растекаться мыслью по древу» тут растекалось само дерево, своими контурами напоминающая озеро или поляну.

Берсудский прав: работы Тима дышат. Вот откуда его тяга ко всему нестандартному. Прямая линия всегда завершает, а вьющаяся продолжается. Она являет собой знак жизни, совместного существования природы и дома.

За всем этим философия и смелость. У нас востребовано лишь то, что соответствует норме. К примеру, вы хотите играть, но не отличаетесь красотой. Да и с дикцией что-то не так. По этой причине Юрского не взяли в школу-студию МХТ. С горя он поступил на юридический, но после третьего курса вновь подался в Театральный.

Еще на заре Художественного театра отменили эти требования, а они существуют. Если не на бумаге, то в головах. Будь красавцем, говори ровно и медленно, спину держи прямо! Юрский смог доказать свое право, а многие сошли с дистанции.

Как это связано с творчеством деревянного мастера? Дело в том, что для него тоже существуют нормы. Прежде чем приступить к работе, он должен произвести отбор. Особенно строго следует отнестись к дереву с деформациями и наростами.

Ничего этого Стэд не признавал. Чем необычней, тем ему интересней. Выходит, он творил не из ясеня или бука, а вместе с ними. Старался угадать, какими они хотели бы быть.

Правда, цвет Тим выбирал не такой, как в лесу, но и не такой, как в мебельном магазине. Деревянный, но с оттенком красного. Вроде как с примесью огня. Он использовал не лак, а скипидар и прокипяченное льняное масло. Поэтому его вещи не блестят и отсвечивают, а горят и гаснут в робком свете нескольких бра.

Вновь повторю — казалось, будто ты не рядом с деревом, а внутри него. Наверное, от этого возникало ощущение покоя. Появлялось ощущение, что если что-то случится, то эти шкафы и кровати тебя защитят.

Ты не только чувствуешь себя уверенней, но становишься лучше. Не зря спинки стульев настаивают на прямоте твоей спины. Кровать же не только мягкая, но и твердая. Она не превращает тебя в лентяя и лежебоку, а подготавливает к завтрашней работе.

Иногда убежищем может стать не дом, а место самое неожиданное. Вообразите, вы идете по лесу, и вдруг — шалаш. Вот чего вы не ожидали, но тем радостней обретение.

Так в Галерее современного искусства в Глазго натыкаешься на объект Тима. Как потом выяснилось, перед ним стояла косметическая задача — надо было что-то сделать с дырой, соединяющей два зала. Когда он обшил это место деревом, то возникло пространство столь узкое, что в него могут втиснуться только двое.

Вы оказываетесь внутри и садитесь на небольшие скамеечки — для вас и вашей подруги. Со стороны все видно, но кажется, вокруг никого нет. В этом укрытии вы существуете исключительно друг для друга.

Кстати, когда в Глазго приезжал папа римский, то решили подстраховаться. Стул, на котором должен сидеть гость, заказали Тиму. Все же другие мастера думают об удобстве, а он еще о гармонии.

Как сделать так, чтобы мебель была современной и старинной? Для Шотландии это вопрос риторический. По сути, тут все имеет отношение к прошлому — и вплетается в сегодняшний день.

Вот Герван с его собором и кладбищем в центре. Ну и возрастом больше, чем у Петербурга. При этом ничего общего с «элизумом теней». Жизнь медленная, похожая на отпускную, но пульс бьется ровно.

О Бленсли тоже не скажешь, что это место возникло недавно. Собора тут нет, но старых зданий достаточно. Взять хотя бы дом Стэда, перестроенный из фермы конца позапрошлого века. Конечно, старше всего местные пейзажи. Сколько поколений сменяли друг друга, а холмы так же зеленеют летом и белеют зимой.

Однажды Таня нашла подтверждение этой двойственности. Она читала стихи Тима и споткнулась о неизвестное ей: «kist». Прикидывала так и этак, пока не поняла, что это староанглийский. Ларчик открывался легко: слово переводилось как «сундук».

Дело не в том, когда сундук сделан — триста или десять лет назад. В любом случае он был не сегодняшний, а старинный. Лучше всего он смотрелся бы в замке Стерлинг — не в том, где сейчас хозяйничают туристы, а в том, что принадлежал шотландским королям.

Пропорции между новым и старым следует все время поддерживать. Это так же относится к жизни города, как и к созданной Тимом мебели. Иначе случится то, что вышло с одним его гарнитуром.

Слышали ли вы о том, что стулья и столы возвращаются подобно перелетным птицам? О них уже успевают забыть, но они снова собираются вместе.

Как-то вдова Тима Мегги увидела рекламу французского ресторана в Эдинбурге и узнала работы мужа. Выяснилось, что это наследие прежних владельцев. Новый хозяин ничего не знал об авторе этих вещей и ими не дорожил.

Как говорилось, Тим предпочитал масло со скипидаром: благодаря такому составу дерево не блестит, а горит внутренним огнем. Эти тонкости уже никого не интересовали. Когда мебель начала трескаться, ее покрыли лаком.

Все же постепенно хозяин проникся. Особенно он насторожился тогда, когда отпилел неровную выемку. Потом смотрит — она же соответствует выступу на другом предмете! Значит, так сделано для того, чтобы они соединялись.

Вы уже поняли, к чему я клоню? Когда автора нет на свете, следует быть очень бережным. Если вы не сможете оценить его замысел, то карета опять станет тыквой. Хорошо, найдется хрустальная туфелька, и мы поймем: да, все было именно так.

Круговорот в культуре

Стул-скульптура и шкаф-скульптура — это изобретение Тима, но есть у него вещи более традиционные. Например, при входе в дом он поставил (верней, посадил) керамическую скульптуру своего отца. Разумеется, никаких пьедесталов. Если сесть рядом, то можно помериться с ней ростом.

Говорят, действительно похож. Его отец часто сидел так: нога на ногу, тело сползает к краю стула, взгляд устремлен вперед, а на самом деле в себя... Правда, приглядевшись, мы видим, что отец совсем не прост. Начать хотя бы с того, что его жилетка скрывает ящички. Они открываются и закрываются, а в случае необходимости вмещают множество разных вещей.

Тим шутит (все, знавшие его, вспоминают, как он заразительно смеялся), но есть тут и нечто серьезное. Мы наблюдаем что-то вроде круговорота в природе: отец становится шкафом, скульптура — мебелью, а стул и шкаф превращаются в скульптуру. Здесь все взаимосвязано и не существует само по себе.

Что такое круговорот в природе, нам рассказали в школе, а что руководит круговоротом в культуре, следует понять. Как видно, произведению следует быть не жизнеподобным, а живым. Когда это случается, оно не только что-то говорит публике, но и публичка по разным поводам будет к нему обращаться.

Передо мной были не столько предметы, сколько объекты. Как тут не вспомнить стул у Гоголя, восклицавший: «Я — Собакевич». Или чеховского Гаева, произносившего спич в честь «многоуважаемого шкафа». Примерно так вела себя мебель — к ней обращались, и она могла говорить.

Я попытался это представить. Если стул-Собакевич аттестовал себя по-солдатски, то тут мерещилось разнообразие. Почему бы сундуку не обладать трубным глазом, а шахматам не перешептываться? Может, только люстра помалкивает — смотрит сверху и радуется, что все собрались в кругу ее света.

Конечно, есть еще варианты. Однажды голоса деревьев услышали немногие посвященные — те, кто живет на северо-востоке и не по слухам знает о пожаре в 1988 году на нефтедобывающей платформе Пайпер Альфа.

Для часовни кирхи Святого Николая в Абердине, открытой в память о ста шестидесяти семи погибших, Стэд сделал стулья. В каждую спинку он инкрустировал дерево разных пород. Когда стулья ставились в ряд, то первые буквы названий деревьев образовывали фразу: «Мы помним вас».

Такой тайный код. Сам язык, выбранный Тимом, отбирал из многих посетителей часовни тех, кто мог это произнести.

Незадолго до смерти Стэда начали снимать о нем фильм, но завершить не успели. Остались несмонтированные куски. В одном из них он говорит о самом старом ясене эдинбургского Ботанического сада. Жизнь этого дерева заканчивалась: сто тридцать-сто сорок лет — это предельный срок.

Затем мы видим Тима за работой. Только что ясень покачивал кроной, а вот — распилен на части. Начинаясь новый для него этап — ему предстояло стать стулом или столом. Пришло время не только украшать, но приносить непосредственную пользу.

Несколько раз Тим нежно проводит рукой по дереву — один раз по ложбинке на его коре, а другой — по гладкой спиленной поверхности. В этом движении — он весь. С деревьями его связывала не только профессия, но внутреннее чувство.

Мы видим, что мастер испытывает признательность к своему материалу. Следовательно, тут тоже существует круговорот. Ему надлежит отдать столько, сколько он взял.

Стихи Тима

Как говорилось, за долгую историю шотландцы отвоевали право на личное пространство. Пусть даже вы — муж или жена, мать или дочь, это не умаляет ваших прав. В чем-то вы объединяетесь, а в остальном существуете отдельно.

Неудивительно, что Мегги не знала о том, что муж пишет стихи. Только после его смерти она обнаружила их у него в компьютере. Этих текстов оказалось столько, что хватило на несколько книг.

Думаю, она не особенно удивилась. Если Тим сочинял из дерева, то почему бы ему не сочинять из слов? Тем более что в этих текстах он остается деревянным мастером. Всякую ситуацию наблюдает со стороны. Так — сразу и целиком — видишь скульптуру.

Кстати, первая его книга называется «Башни». Так что и в названии он верен профессии. Предпочитает изящное в пропорциях и очевидное с первого взгляда.

Чтобы вы убедились в этом, я перевел несколько текстов. Вот стихи о том, как он пересчитывает годовые кольца и понимает, что дерево — живое. Значит, дерево умнее зверя. Он молчит о прошлом, а оно помнит и может быть уподоблено человеку.

Так — это происходит раз в миллион лет —
Раскалывают скалу,
И она разламывается по трещине —
Так раскрывают ясень, обнаруживая в нем

Разнообразные цвета минувших летних сезонов,
Темные повороты зимы и бледные осени —
Все это дерево приняло в себя,
Чтобы превратить в воспоминания и тепло.

Или стихи о том, что человек и мир подчиняются общим законам. День сменяется ночью, как вдох выдохом. Почему «звезды взрываются»? А потому, что новое возникает из смены состояний. Возможно, на сей раз это будет текст, в котором он об этом расскажет.

Биение сердца внутри.
Вдыхаю и выдыхаю, втягиваю и вытягиваю.
Точно так же и снаружи —
Бьется дождь, набегают волны...
Да и вдали тоже — когда ночь приходит на смену дню,
То звезды взрываются.

Поэт артикулирует то, о чем скульптор думает. За годы в профессии он осознал, что такое процесс. Все начинается с невыразительной деревяшки, а затем она становится чем-то большим. Примерно то же делает любовь. Ходишь вокруг да около, а потом понимаешь, что влип навсегда.

Благословен день,
Когда у нас родился первенец
И я был свидетелем его явления на свет.
Назавтра я выразил свои чувства тем,
Что принес Мегги два утиных яйца
И цветы из сада.
Шел снег, но казалось, это весна.
Все потому, что были эти яйца, цветы, ребенок, мать, отец.
Еще думалось, что с этих пор все будет иначе,
Не так, как раньше,
Ведь мы теперь не наблюдатели,
А участники. Нити в чудесной паутине жизни.

А эти стихи о том, что размышления имеют объем. По крайней мере, мысли скульптора всегда воплощаются в нечто обозримое. Такое, к примеру, как коробка в руках.

Вот она раскрыта и вынесена на свет
После долгого нахождения в темном месте —
Вся такая потертая от пребывания в разных руках.
Теперь, когда она не принадлежит никому,
Свободны и независимы хранившиеся в ней воспоминания.

Вот они роятся, подобно пчелам,
Которые, радуясь и кружа,
Совершают круг за кругом, прежде чем возвратиться
Туда, откуда они вылетели.

Опять коробка закрыта —
Такая теплая в узловатых старческих руках.

Художник говорит обо всем, что с ним происходит. Если он умирает, то пишет о смерти. Лежит, опутанный трубочками, смотрит, как его кровь вытекает, а чужая втекает. Размышляет о том, каково это — умирать? Одновременно находиться здесь — и там?

Вот еще тема, одинаково важная поэту и скульптору. Как то, что внятно тебе одному, сделать понятным всем? Это противоречие зафиксировано в первом названии лучшего русского театра. Казалось бы, что соединяет «художественное» с «общедоступным»? Видно, это и есть то, к чему надо стремиться.

Тим это понял, познавая строение дерева. Едва ли не обращаясь к своему материалу и чуть ли не получая ответ. Так появлялись его стулья и столы. От их сородичей в наших домах эти вещи отличают маленькие секреты. Что бы это ни было — ложбинка или выпуклость, участки темный или светлый, — но эти подробности решают все.

Кстати, процедура переливания крови говорит о том, как близко адресное и анонимное. Казалось бы, нельзя больше соединиться с другим человеком. Хорошо бы сказать «спасибо» своему благодетелю, но это вряд ли возможно.

Из висящего надо мной полиэтиленового пакета
В вены втекает кровь.
Прежде эта кровь текла через кого-то другого —
Возможно, мужчину,
А, может быть, женщину.
Теперь тот же путь кровь проходит
Через мое сердце и самые маленькие сосуды.
Вот мы и породнились,
Но при этом не познакомились.

Вот-вот. Завершая свой путь, деревянный мастер отвечает на вопрос: близкое или далекое? Близкое — и далекое? Можно ли соединить явное с тайным?

Думая о своей профессии, он представляет (или это мне мерещится?) такую картину. Предположим, зима. Перед вами красивая женщина, но вы это понимаете не сразу. Сперва видите пальто, шапку и шарф, а потом и ее саму.

Жизнь и после нее

На счету Тима — множество посаженных сосен и вязов. Уж не говоря о спасенном лесе. Когда его решили продать под вырубку, он возглавил «комитет спасения» и даже учредил приз. Тот, кто жертвовал больше двухсот фунтов, получал сделанный им топор.

Топор весь деревянный, а значит, бесполезный в практическом смысле. Вот что такое «перековать мечи на орала»! То, что угрожало деревьям, стало искусством и украшает, к примеру, интерьер столовой.

Тогда необходимую сумму собрали и лес спасли. Ну а в конце девяностых, как уже говорилось, надлежало спасти самого Тима. Тут местное «community» оказалось бес- сильно. Да и врачи уже разводили руками. Когда настало время последних распоряжений, Тим попросил похоронить себя в том лесу, который когда-то спас.

Где это — в лесу? На поляне? Нет, прямо среди деревьев и мхов. Это будет означать, что раньше он властвовал над своим материалом, а теперь окажется в его власти.

Сперва упомянем о том, как проходило прощание. Об этих похоронах жители Бленсли вспоминают до сих пор.

Казалось бы, похороны исключают зрелищность, но художники на это смотрят иначе. Казимира Малевича хоронили в разноцветном гробу, а глаз Андрея Синявского на смертном одре был перевязан пиратской повязкой. Не знаю, как Синявский, но Малевич точно это задумал. Все же со смерти начинается бессмертие. В новый этап надо войти таким, каким ты сам видишь себя.

Вот и Тима провожали в полном соответствии с его идеями и принципами.

Дорогу через лес от шоссе к могиле покрыли толстым слоем стружки. Только таким должен быть ковер, который следует постелить в память о мастере. Первым шел ученик Стэда в клетчатой юбке-кирте. Он играл на волынке что-то заунывно-грустно-торжественное.

За учеником следовал лесничий. Он держал за ручку повозку — на таких тарахтелках перевозят упавшие стволы. На повозке, как на лафете, стоял гроб из ивовых прутьев. Сверху лежала рабочая кепка Тима с пылеуловителем на козырьке (говорят, он так ее и носил — на козырьке, а не на лице).

Приносить цветы Стэд запретил. Пусть еще поживут, порадуют яркими красками. А уж если захочется помянуть, то правильней эти деньги потратить на лес. Лучший способ отдать долг покойному — продолжить его дело.

За шарманщиком и лесником, держась за руки, шла Мегги с детьми. Затем братья вели его мать.

На трех больших, как весла, шестах, гроб установили над вырытой ямой. Настала минута жене, детям и всем желающим почитать стихи Тима. В одном из них он писал, что бояться смерти не надо, и обещал каждого встретить на небе.

Затем играл на скрипке еще один русский друг Стэдов Лев Атлас. Из-под его смычка являлось на свет нечто, казалось бы, никак не связанное с временем и местом. Это был «Пушкинский венок» Свиридова. Именно этот цикл Атлас исполнял для Тима в больнице за день до его смерти.

Попробуйте вообразить Свиридова, в унисон которому поют дрозды и шумят кроны. Думаю, Тиму это должно было бы понравиться. Да и Свиридову тоже. Все же это подтверждает то, что мы живем не вопреки природе, а с ней сообща.

Могила в лесу

К вечеру мы покинули дом Стэдов. Оставалось посетить его могилу. Мы ехали по шоссе, и наконец машина свернула на проселочную дорогу в лесу.

Надгробие оказалось холмом. Правда, не из земли и веток, как у Толстого в Ясной Поляне, а из камня. На нем по-латыни и по-английски было написано: «Счастлив тот, кто встретил Дух леса». Словом, нас просили не горевать. Плохо, что его нет, но прекрасно, что он был.

Около могилы стоял сам дух. Странно, что он был деревянный, но ведь Тим не признавал другого материала. Дух широко улыбался узнаваемой улыбкой деревянного мастера.

Фигура Стэда представляет что-то вроде ствола дерева. Так же как из тех деревьев, с которыми работали Тим или Эд, из него возникают новые персонажи. На сей раз это птица, ящерица, медведь.

Под медведем (по-английски «beag») Берсудский имел в виду себя. Еще он имел в виду то, что они со Стэдом были как часть и целое. Поэтому голова медведя выглядывает из ствола, а тело скрыто внутри.

Эту скульптуру Эд поставил сразу после похорон. Тогда она имела цвет свежего дерева, но к тому времени, как мы ее увидели, успела покрыться мхом. Значит, памятник Тиму, как и он сам, стал частью леса. Возможно, одним из деревьев. У памятника не было веток, но, кажется, были корни — так крепко он врос в землю.

Сейчас я рассказываю об этом спокойно, а тогда был поражен. Все же нечасто такое случается. Скульптор предложил свое решение, но природа его поправила: все же вернее будет вот так.

Перспективы

Нам не привыкать к тому, что история «Вишневого сада» не частная, а общая. Не только «вся Россия — наш сад», как говорит Петя Трофимов, но и вырубка деревьев с последующей отдачей в «аренду под дачи» есть дело общероссийское. Не сосчитать, сколько садов пало жертвой унылого прагматизма!

Так вот чеховский сюжет не только русский, но французский, немецкий, итальянский, голландский. В данном случае шотландский. Чем он закончится — никто не может сказать. Ясно, что сроки поджимают и что-то непременно случится.

Вдова Тима Мегги живет во Франции и редко навещает Бленсли. Так что продажи не избежать. Все, что можно сделать, это правильно распорядиться вещами.

Главный вопрос в том — расстанется ли дом со своим богатством или продолжит существование в нынешнем виде? В первом случае мебель станет кочевой выставкой, а во втором — это будет музей.

Есть вариант более печальный: предметы продадут по одному. Многие украсят свои квартиры и виллы, но от тимовского замысла не останется ничего.

Вся надежда на ценителей красоты, но не исключен и простой расчет. Ко всем достоинствам дома прибавьте такое обстоятельство. В Шотландии есть закон, по которому собственника освободят от налогов, если на пару недель в год он откроет двери для посетителей.

Так что, олигархи, ау! Есть шанс попасть в историю. Так вошли в нее Генри Фрик, собравший столько прекрасных картин, что на их основе возник один из лучших нью-йоркских музеев. Или владелец «Лейденской коллекции» Томас Каплан. До музея дело пока не дошло, но устраиваемые им выставки составляют конкуренцию Лувру и Эрмитажу.

Пока же дом существует подобно лесу или поляне — едва ли не любой может зайти, восхититься, помыть руки в деревянной раковине. Воровство маловероятно — больно далеко это от Эдинбурга, слишком много вокруг людей, которым не безразличны Стэды.

Дом поскрипывает своими деревянными суставами, вспоминает, какой бурной была жизнь при Тиме. Сейчас, конечно, не так — гости редки, хозяйка и дети в отъезде. Впрочем, есть еще мебель. Возможно, эти стулья и столы когда-нибудь разлучат, но пока этого не случилось, они существуют как одна семья.

ИНТЕРМЕДИЯ ТРЕТЬЯ. РАЗГОВОР В ПОЕЗДЕ ПО ДОРОГЕ ИЗ ГЛАЗГО В ГЕРВАН

Небоскребы, небоскребы...

Поезд опять едет из Глазго в Герван, а мы обсуждаем шарманку — ту, которая театр, и ту, которая жизнь. Ну и удивляемся повторениям: следовало слетать в Нью-Йорк, чтобы утвердиться в том, что все существует по кругу!

Начнем с пространства, плотно заставленного небоскребами. Смотришь и думаешь о чем-то рукотворном. Например, о кубизме, который тоже утвердился в начале прошлого века. Так они и существовали параллельно — город возводил постройки, одна геометричнее другой, а Брак и Пикассо превращали круглое в прямоугольное.

Еще, конечно, важны габариты. Нью-Йорк признает только огромное. Словно строился он для великанов. Теперь тут живем мы, но не без удивления. Никак не можем понять: зачем маломеркам эти громады?

Любой город думает о чем-то своем. Например, Петербург вглядывается в прошлое. Куда больше, чем нам с вами, он порадовался бы мужчинам, целующим дамам ручки, и дамам, делающим книксен. Еще в двадцатые годы таких экземпляров хватало, но сейчас они перевелись.

Если Петербург — город прошлого, то Нью-Йорк — будущего. Так было больше ста лет назад, когда он начинал застраиваться небоскребами, и остается сейчас.

Как это назвать? Высокомерием? (Наверное, правильнее было бы сказать: «высоткомерием».) Город не считается ни с нашим ростом, ни с нашими возможностями. Когда я сказал приятелю, что за два часа прошел весь Манхэттен, он долго смеялся. На самом деле, чтобы обойти этот район, нужна, по меньшей мере, неделя.

Даже там, где все говорит о будущем, человек из России обнаружит прошлое. Да и как иначе, если немалая часть Петербурга оказалась здесь? Когда я собирался в Нью-Йорк, меня снабдили телефонными номерами. Следовало опять натянуть нити, которые связывают нас с минувшим.

Интересно, как там тот, другой, третий? Обрывочные сведения доходили, а теперь я окажусь на месте их приземления. Узнаю, как им живется, и расскажу, что за это время случилась у нас.

Первая история оказалась если не рождественской, то точно чудесной. Со мной в классе учился очень серьезный молодой человек. У меня с математикой были проблемы, а ему все давалось с легкостью. На его постоянно сосредоточенной физиономии было написано: сейчас решу! Еще немного, и вы получите ответ!

Вообще, с обычной жизнью он был связан по касательной. Основные события происходили в мире цифр. Какие там шли баталии! Что-то делилось, умножалось, сходило на нет и вырастало в своем значении.

В Нью-Йорке он получил работу в знаменитых башнях-близнецах. Тут он смог показать любовь к точности. Каждый день без двадцати девять подъезжал к работе. Другие и без десяти были не на месте, а он уже сидел за своим столом. На лице было то самое знакомое выражение, которое говорило: «Сейчас вы получите ответ!»

Тем удивительней, что однажды мой одноклассник опоздал. Это было так же невозможно, как сделать арифметическую ошибку. Кого он за это ругал? Дочку, которая отвлекла своими вопросами? Прежде всего его не устраивали цифры. «В двадцать это бы не случилось, — сетовал он, — а в сорок произошло!»

Совсем близко к девяти он подъезжал к «близнецам». Вернее, одной башни уже не было: у него на глазах она превращалась в столб пыли.

В кафе, где мы с ним обсуждали эту историю, было полно людей. Знали бы они, что среди них избранник! На его лице мешалось смущение с изумлением. Что-то вроде такого вопроса: «Почему выбрали меня?»

Еще мне следовало позвонить бывшей соседке. Интересно, смогу ли я ее узнать — помню только, было много мягкого. Лицо, фигура, жесты, улыбка. Я даже подумал о такой «квадратуре круга» — как это жить в геометрическом городе, но противиться ему всем существом?

К телефону подошел мужчина. Он говорил по-русски, но при этом это был не сын или зять. На мой вопрос: «С кем я разговариваю?» — он ответил: «Сейчас я ее привезу».

Вот сколько перемен! Она тяготела к округлости, а теперь жизнь сделала полный круг. Или почти полный. Можно избежать падения башни, но еще никто не уберется от старости. Все случится в положенный час.

Кроме одноклассника и нашей соседки, в Нью-Йорке жил мой приятель. Вернее, когда-то мы общались, а потом перестали. Вот по этому поводу мне хотелось с ним объясниться.

Дальше будет моя речь на суде. Хотя ничего такого не было, но почему бы не фантазировать? Тем более что такие монологи я не раз произносил про себя.

Прошу учесть, господа присяжные, что в это время мне исполнилось девятнадцать лет. Еще не забудьте, что у нас была дружная семья. Если у кого-то что-то случилось, мы садились за стол и долго это обсуждали.

С каждой такой новостью наш круг становился тесней. Дело ведь не только в советах. Столь же важна уверенность, что еще долго мы будем жаловаться друг другу и говорить о наших проблемах.

Как можно было пропустить отъезд моего приятеля! Сперва об этом мы поговорили начерно, а затем подробнее.

Особенно волновалась мама. Лучше всего она разбиралась в женитьбах и разводах, но и тут поучаствовала. Поинтересовалась, где приятель собирается жить. Будто речь о чем-то столь же очевидном, как поездка к тете на дачу.

Наверное, мне следовало переключиться на другую тему, но я еще усугубил. Сказал, что Америка — это не Бермудский треугольник. Слава богу, есть телефон.

После этих слов отец огорченно развел руками, а мама встала со стула.

Первой заговорила она:

— Ты не знаешь, что нас прослушивают? Твой отец — однокурсник Аксенова. Вася хоть и старше тебя, но тоже человек наивный. Вот они надеются, что он нам позвонит.

Принятая тогда конспирация была несложной. Кто не догадывается, что значит «они»? Да и про Софью Власьевну никто не подумает, что это продавщица соседнего магазина. Все знали, что так именуют советскую власть.

Самой достоверной в этой тираде была фамилия Аксенова. По поводу остального у меня были сомнения. Особенно смущала уверенность в том, что уши повсюду. Буквально в каждой телефонной трубке.

Как это может быть? Вряд ли у них столько сотрудников. К тому же есть праздники, выходные, перерывы на обед. Наверное, они бы хотели знать все, но все же не ценой личного времени!

А что если родители правы? Не так много у Аксенова друзей в Питере. Почему бы по этому случаю не отрядить сотрудника? Он наострит уши и будет ждать, когда кто-то проговорится.

Я, видите ли, сомневаюсь, а Василий Павлович верил! Сам видел, что в Питер он привозил «Ожог». Когда у нас останавливался, просил папку спрятать. Рукопись помещалась в платяной шкаф между двух комплектов белья.

Аксенов так опасался за свою книгу, что всегда держал ее при себе, а я буду звонить в Америку! Дам работу какому-нибудь сотруднику. Возможно, он будет отчитываться перед начальством нашими разговорами.

Мама увидела, что я начинаю скисать, и прибавила еще один аргумент:

— Тебя только что утвердили в театре Ленсовета.

Да, утвердили — если вы жили в ту эпоху, то знаете, что самая скромная должность требовала согласования и утверждения.

Хотя никто в нашей семье не состоял в партии — это было как-то не принято, — но утверждение происходило в райкоме.

Претендентов в тот раз набрался целый коридор. Впрочем, сперва тебя утверждали в праве войти. Рядом с фамилией ставилась галочка, и ты проходил в большую комнату.

Очередь бодро двигалась к цели, как вдруг случилась заминка. Чиновник посмотрел на меня немного испуганно и сказал:

— Вы понимаете, где находитесь?

Как не понимать? В другой ситуации мы бы это обсудили, но сейчас следовало спешить. Чиновник попросил меня пройти в комнату неподалеку. Там он порылся в ящиках стола и вытащил нечто длинное и трепещущее. Это была не змея, а галстук противного цвета, да еще с какими-то квадратиками.

К моей рубашке галстук не просто не подходил, но с ней конфликтовал. Впрочем, сейчас я смотрел не в зеркало, а на своего визави. Он довольно улыбался. Теперь я был не случайный зевака, а полноправный участник.

Видно, мой случай был не единственный. Время от времени в райком приходили такие же раздолбаи, и чиновник их спасал. Как тут не увидеть тайной симпатии к людям без галстука? Лишь один шаг отделял их от фиаско, но он не давал им пропасть.

Больше проблем в тот день у меня не было. Во время заседания называлась фамилия, и ты вставал. На тебя внимательно смотрели, а затем просили садиться. Видно, костюм с галстуком убеждал их в том, что ты не переметнешься на сторону свитера и вельветовых брюк.

Признаюсь, в своем стремлении к расстегнутой верхней пуговице я был эпигоном. Галстуков не любил мой шеф Игорь Владимиров. Это в его-то положении руководителя театра! Как с таким отношением сидеть в президиумах и бывать в начальных кабинетах?

Может, раз или два я видел Владимирова «при всем параде» — кажется, в первый раз он получал орден, а в другой — звание. Во всех остальных случаях он настаивал на распахнутом вороте.

Это была не только натура и привычка, но позиция. Однажды он даже высказался в том смысле, что хорошо бы в обкоме партии появиться в халате.

Владимиров не только происходил из дворян, но позволял себе барские замашки. Так что это желание в его духе. Так и вижу его — огромного, шестидесятилетнего — в коридоре Смольного. На нем не только нет галстука, но нет ничего. Лишь халат вроде того, что описан в «Обломове»: «из персидской материи... без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный».

Вот это и есть высшее право: все одеты так, как положено, а один практически не одет. Остается только прикрикнуть — это Владимиров умел как никто. Тогда и станет ясно, кто тут — челядь, а кто — хозяин и отец родной.

Конечно, это фантазии. Ничего такого не было и быть не могло. Впрочем, вино раскрепощало не меньше халата. Жест становился свободным, походка легкой, а руководители города казались симпатичными людьми.

Так что свою идею Игорь Петрович осуществил. Он не раз представлял перед начальством выпившим. За это его порицали, но потом оставляли в покое. Если бы он состоял в партии, разговор был бы другой, а так все ограничивалось внушениями.

Владимиров это понимал и вступать не спешил. Уж какие расставлялись сети, но он всякий раз ускользал.

Ощущение себя барином имеет к этой ситуации прямое отношение. Когда на него особенно давили, он вызывал кого-то из своих актеров — например, Леонида Дьячкова или Анатолия Равиковича — и «переводил стрелки» на них.

Чувствуете породу? Настоящие баре себя не переутомляют. Если что, свои обязанности они перекладывают на других.

Когда выбранная им жертва соглашалась не сразу, Игорь Петрович произносил свое сакраментальное:

— Делай, потом объясню.

Часто он так говорил на репетициях. Какие-то образы возникали в его сознании, и надо было поскорее их воплотить. Стоило же начать разбираться, как видение исчезало.

...Вот что мне вспомнилось после того, как мама сказала: «Тебя только что утвердили в театре Ленсовета». Когда я добрался до разговора Владимиров с будущими членами партии, возражений почти не осталось. Уж как мне хотелось быть самостоятельным, но, кажется, родители опять были правы.

Ко всем прочим аргументам надо прибавить то, что тогда мы жили вместе, а значит, телефон у нас был один. Выходило, я их в эту историю втягиваю. По крайней мере, даю повод для ненужных волнений.

Я погулял по улице, побегал по комнате и наконец позвонил. Встреча с приятелем оказалась короткой — я изложил свои доводы, а он сказал, что все понимает. Затем мы крепко обнялись. Думаете, юношеская сентиментальность? Просто мы были уверены, что расстаемся навсегда.

Что и говорить, поступок не лучший. Но ведь и государство, в котором мы жили, не отличалось благородством. Не мы выбрали обстоятельства, а также мании и фобии. Может, с этого и начать? «Ты же сам все понимаешь», — скажу я, а в ответе услышу: «Давай не будем вспоминать».

В кафе

Наша встреча началась как нельзя лучше. Прошлись по самой веселой улице города — Пятой авеню. Вечером она превращается в сплошную рекламу. Кажется, будто движешься по огромному светящемуся коридору. Справа у тебя — гулливерской величины бутылка, а слева — немереные женские трусы.

Потом мы решили зайти в кафе. Перекусить, выпить — и почувствовать себя соразмерными окружающим вещам. Бутылка вина и сигареты тут не напоминали океанский лайнер, а были такими, какими им следует быть.

Сперва разговаривали о том о сем. Слава богу, общих знакомых хватает. Что по ту, что по эту сторону океана.

При этом мы оба чувствовали, что недоговариваем. Он все не переходил к вопросам стороны обвинения, а я не приступал к последнему слову. Где-то в районе четвертой рюмки он спросил:

— А когда ты положил партийный билет?

— В смысле?

— Когда ты вышел из партии?

— Я в нее не вступал.

Потом он произнес:

— Ты урод. Ты меня предал.

Затем мой приятель (теперь уж точно бывший) стал кричать что-то несусветное. Тут я понял, почему он так обрадовался моему звонку. Вот уже сорок лет ему хотелось это сказать, но лишь сейчас предоставилась возможность.

Где-то я читал, что 14 декабря 1825 года было главным — и единственным — событием для восставших. Их биография разделилась надвое: первая половина вела к этому дню, а вторая из него вытекала.

По Пастернаку (или Чингизу Айтматову) это называется «и дольше века длится день». А с точки зрения Эда — «шарманка». Движение его кинетических скульптур чаще всего означает остановку. Ничего не меняется — проходит круг и вновь возвращается в ту же точку.

Оставалось выйти из кафе и дойти до сабвея. Кажется, мы оба были расстроены тем, что так вышло, но вида не подавали. Что за выпивка без выяснения отношений? Может, в Нью-Йорке так бывает, но нас воспитали по-другому.

Оказывается, пока мы сидели и разговаривали, в городе пошел снег. Нечасто это здесь случается, но сейчас было на удивление к месту. Ведь если есть у нас что-то общее, то прежде всего снегопад. Неважно, где он нас застанет — в Бруклине или рядом с Эрмитажем.

Всякий раз у снега своя повадка. Иногда он падает хлопьями, не различая людей, а порой важно и медленно. Так было сейчас. Мы отнеслись к этому с пониманием, а прохожие реагировали нервно. Они гнали снежинки, как назойливых мух.

В Петербурге снег начинают убирать тогда, когда его становится много. Вот вы ощутите себя Суворовым, переходящим через Альпы, и вам на помощь придут дворники. В Нью-Йорке люди с лопатами не ждут, когда все пространство станет белым, а сразу вступают в борьбу.

Итак, мы шли через снег. Вскоре в нем растворились прохожие, а затем пропали дома. Остались только мы двое. Ну, еще наше прошлое. В нем, в этом прошлом, тоже шел снег, засыпая границу между минувшим и настоящим, между нами сегодняшними — и теми, какими мы были эпоху назад.

ПЕРВЫЙ ЭПИЛОГ

Шарманка дает сбой

Еще раз вспомним «паутину жизни», о которой писал Стэд. Каковы цели невидимого глазу паука? Одни ниточки тянутся, а другие обрываются. Бывает, неделями нечего не происходит, а вдруг событие за событием.

Уже пару раз мы замечали — шарманка проборматывает мелодию, а тут случается сбой. В нашем варианте — это новый поворот сюжета. Ушел Юрский, и я о нем вспомнил. Сейчас тоже случилось важное. Стоило приготовиться к тихой жизни в Питере, как получаю приглашение в Киев.

Все мы что-то оставили в соседних странах. Украинцы — в России, россияне — в Украине.

Вот, например, Таня. Ее дед работал в Наркомздраве. Для работников министерства в конце тридцатых годов в центре Киева построили роскошный дом, и семья въехала в собственную квартиру. Наслаждаться комнатами, кухней и двумя балконами пришлось недолго — вскоре за дедом пришли.

Постепенно дом опустел — каждую ночь «воронок» кого-то забирал. Когда план выполнили, оказалось, работать некому. Даже на место наркома не нашлось никого. Назначенный мелкий чиновник еще долго выяснял отношения с сослуживцами: «Ты мне не тыкай. — говорил он, — Я теперь министр».

Как тут не вспомнить кинемат «Вавилон». Он изображает крайнее напряжение попусту потраченных сил. Неважно, чем заняты фигурки. Если бы они арестовывали друг друга и выходили в наркомы, впечатление было таким же.

В мае 2017 года Таня и Эд ездили в Киев и почтили память деда табличкой «Последнего адреса». Знаете, такие железные пластины с прямоугольным отверстием посредине? Видно, она обозначает прореху, образовавшуюся в этом доме.

Теперь моя украинская история. Впрочем, прежде чем переместиться в Украину, немного задержимся в России. Все же надо знать, как все начиналось.

Сразу скажу, ничто не предвещало. Достойно упоминания только место действия — тогда мы жили в Пушкине, прямо напротив Дома ветеранов архитектуры.

Я часто гулял с маленькой дочкой в «ветеранском» саду. Архитекторы тихо беседовали на скамейках. Возможно, они обсуждали построенные ими дома и сетовали на то, что ничего подобного уже не случится.

Так бы и протекали наши жизни параллельно, если бы судьба не свела меня с Зоей Борисовной Томашевской.

Томашевская, внучка Блинова

Помимо принадлежности к ветеранскому племени, Зою Борисовну отличало умение дружить. Этот талант достался ей от родителей — литературоведов Бориса Викторовича Томашевского и Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской. Общими усилиями возник семейный круг, в который в разные годы входили Ахматова, Зощенко, Рихтер, Альтман и Иосиф Бродский.

Я стал бывать у Зои Борисовны. Уже тогда из дома она почти не выходила, и на меня возлагались обязанности связного. Всякий раз, напутствуя меня перед походом в магазин или на почту, она рассказывала удивительные истории.

В какой-то момент между нами появился диктофон. Уж больно неправильно, что рассказы уникальные, а рассчитывать можно только на память.

Однажды мы сидели и пили чай. Только что она вспоминала Ахматову и уже собралась говорить о Рихтере, но ей захотелось передохнуть. Диктофон при этом работал. Он зафиксировал ее вопрос:

— А вы знаете, кто был мой дедушка?

Тут я узнал о том, что жил в Житомире Коля Блинов. Ему было двадцать четыре года, но он уже обзавелся семьей и двумя детьми. Правда, что такое личное благополучие в сравнении с чужим несчастьем? Когда в пятом году начался еврейский погром, он не побоялся противостоять погромщикам и был за это жестоко убит.

Во всех пятидесяти одной синагогах Житомира читались молитвы за упокой жертв погрома. Имя Коли произносилось первым. Так русский студент стал еврейским героем. Конечно, русским героем тоже. Может, дома, за самоваром, кто-то и осуждал насилие, но он один попытался вмешаться.

Помните человека в кипе — персонажа кинемата «Виктория»? Многими нитями он привязан к колесам, но совершенно свободен. Как от этих механизмов, так от скорой гибели. Вообразите, он движется под музыку! Ведь единственное, что осталось в его власти, это ритм.

У Коли все было иначе. Его свалили на землю и били железными прутьями. Еще улюлюкали, загоняя в смерть: «Хоть ты сицилист, — бесновались погромщики, — но хуже жидов».

Это тоже называется «смертью смерть поправ». И потому, что Блинов умер «за други своя», и потому, что он был готов к такому концу.

Мать нашла сына в морге Еврейской больницы, куда его привезли вместе с другими жертвами. У него в пиджаке она нашла письмо. С этим письмом в кармане он

прожил несколько лет, точно зная, что все будет именно так. Коля обращался к ней: «Дорогая мамочка!», а затем объяснял, почему был убит.

Продолжение сюжета

У наших с Зоей Борисовной разговоров оказалось долгое эхо. Примерно лет на пять-шесть. Сперва я написал документальную повесть «Наследственная неприязнь к блестящим пуговицам» о ней самой, а потом документальный роман «Дом горит, часы идут» о ее бабушке².

После публикации в «Неве» журнального варианта романа я получил два письма — одно из Израиля, а другое из Житомира. Мои адресаты писали, что прежде не слышали об этой истории, но теперь их жизнь изменилась. Они видят свой долг в том, чтобы увековечить память о Коле.

Честно сказать, я не поверил. Больше ста лет забвения не располагают к оптимизму. Хорошо, что кого-то этот подвиг не оставил равнодушными, но, скорее всего, все ограничится благими намерениями.

Вообще в правила верить легко, а попробуй поверь в исключения! В то, что, много раз исполнив нечто незатейливое, шарманка перешла на более сложный мотив.

Вместе с тем случилось именно это. Меньше через год я поехал в Израиль на открытие памятника Блинову в кампусе Ариэльского университета. Это была победа Коли и его принципов, но тут была и толика моей удачи. Ведь всякая книга предполагает обратную связь: я проживаю с героем его жизнь, но и он прочно входит в мою.

Ариэль находится на так называемых «территориях» — землях, занятых во время войны 1967 года. Поэтому его окружает колючая проволока. Говорят, жители соседних арабских деревень проникают через забор и ходят в местные магазины. Поначалу меня смущала такая близость, но потом я об этом забыл. Столь большое место заняло все, что связано с университетом.

Здесь студенты зовут преподавателей «ахи» — «братец». Возможно, это связано с тем, что у Ариэля русские корни. Многие тут помнят, что в Советском Союзе молодые люди называли друг друга: «старик». Дело не в возрасте, а в принадлежности одному кругу. Вот и «братец» означает: «свой».

Университет долго существовал, не имея примера, а вдруг обрел его в лице Блинова. В какую бы лабораторию ни зашел, на компьютере заставка с портретом Коли. Вроде как напоминание, что студент должен не только много знать, но делать выводы. Если выводы требуют участия, ему не следует оставаться в стороне.

Открытие стелы было торжественным. Буквально до слез. К тому же были сказаны важные слова. К примеру, ректор Ариэльского университета Михаил Зиниград говорил о том, что по-русски есть непере译имое слово «интеллигент». Среди тех обязательств, которые оно накладывает, невозможность подать руку черносотенцу. Так понимали принадлежность к «мыслящему сословию» Короленко, Горький, Владимир Соловьев.

С тех пор ариэльские студенты идут на занятия мимо памятника Коле. Возможно, некоторые не слышали о Житомире, но теперь они знают, что это место взаимоисключающих сил. Существует, конечно, зло, но есть и то, что ему противостоит.

Кстати, памятник представляет стелу, на вершину которой уселась металлическая бабочка. Это Колина душа обрела крылья — и приготовилась лететь дальше. Туда, где беззащитным угрожает расправа.

² Ласкин А. Наследственная неприязнь к блестящим пуговицам // А. Ласкин. Время, назад! М., 2008; Ласкин А. Петербургские тени. Изд. 2-е. СПб, 2017; Ласкин А. Дом горит, часы идут. СПб., 2012; Ласкин А. Дом горит, часы идут. Изд. 2-е. Житомир, 2012.

Во время церемонии рядом со стелой мы посадили лимонное дерево. С тех пор по несколько раз за год оно дает плоды. Так они и существуют вместе: бабочка, расправившая крылья, и дерево, почти не знающее передышки, вновь и вновь покрывающееся желтым цветом.

Житомир-2012

Опять шарманка произвела на свет не привычное «Разлука, ты разлука...», а, к примеру, начало Пятой симфонии Шостаковича. Через несколько месяцев после Израиля я ехал в Житомир, где вышло украинское издание моей книги.

Особенно запомнилась презентация в местном университете. Народу набился целый зал. Я рассказал Колину историю, а затем попробовал домашнюю заготовку — попросил собравшихся проголосовать за то, чтобы в их городе появилась мемориальная доска Блинову.

Сразу поднялся лес рук. Всем захотелось, чтобы Колю не только вспоминали, но он постоянно присутствовал в житомирском пейзаже.

Конечно, я был наивен. Не все решается голосованием. Тем более что скоро в Украине стало просто не до того. Правда, еще одну доску успели повесить — она посвящена Колиному однокласснику Александру Гликбергу, будущему Саше Черному.

Нет, житомиряне не забыли о Коле. Они писали письма в инстанции, собирали деньги и наконец сделали саму доску. Только до установки дело не доходило. Постоянно находились аргументы в пользу того, что надо немного подождать.

Основной аргумент заключался в том, что еще не установлены доски всем великим украинцам. Вот когда это случится, тогда, возможно, дойдет очередь и до Коли.

Новый поворот

Шарманка настаивала, что все повторяется, но тут опять стало сбоить. Я узнал, что доской занялся Евгений Городецкий. Двадцать семь лет он живет в Германии, но о Житомире не забывает. Хочет, чтобы в его родном городе случилось что-то по-настоящему важное.

Есть, знаете ли, такие люди, которым мало того, что есть. Им непременно хочется большего. Так, чтобы не на один день, а очень надолго. Вот появится доска, и она переживет нас.

Честно говоря, я опять сомневался. Если столько времени ничего не выходило, то почему сейчас получится? Вместе с тем события развивались стремительно. Что ни неделя, то какие-то новости.

Месяца через три приходит уже упомянутое приглашение. Оказывается, мероприятий не одно, а два. Седьмого октября восемнадцатого года должен состояться марш памяти Бабьего Яра, а восьмого — церемония установления доски.

В аэропорту Борисполь меня встречал охранник Городецкого Ваня. По дороге в гостиницу он говорил только о том, какими талантами обладает его начальник, а про Блинова сказал так:

— Это же надо, какого хлопца откопали!

Бабий Яр

Меня несколько раз спрашивали: почему именно в эти числа? Действительно, даты выбраны произвольно, если не считать того, что восьмое следует за седьмым.

Раз эти числа стоят рядом, то это не два мероприятия, а одно. Сперва все вместе идем к Бабьему Яру. Затем переезжаем в Житомир, где состоится церемония установления доски.

Надо сказать, это был не первый, а третий марш. Сначала Городецкий прошел этим путем вдвоем со своим товарищем. По дороге он написал об этом в Фейсбуке — и его тексты и фото сразу стали постить. Многие выразили желание в следующий раз к нему присоединиться.

О, великий и могучий Фейсбук — СМИ частного человека! Нынешние телевидение и радио не вызывают большого доверия, и он занял их место. Поэтому через год пришло уже сто человек. Их не приглашали — зовут в гости или в кафе, но не на марш памяти, — но они не могли не принять участия.

Вот и произнесены главные слова — частный человек. Хотя на марше были люди, облеченные властью, но их никто сюда не делегировал. Просто есть вещи, которые нельзя пропустить. В этот день ты обязан быть не на работе или дома, а идти к Бабье-му Яру.

На третий марш собралось уже триста человек. Кто-то приехал из Израиля, Германии, Америки. Одна пожилая израильтянка прочла об этом в Интернете — и поняла, что должна быть в Киеве. Купила билет и уже на другой день была вместе с нами.

Еще надо сказать, что в марше участвовали дети из еврейских и немецких школ. Поэтому иврит и немецкий звучали одновременно. Ну и русский с украинским. Сейчас эти языки ничто не разделяло, ибо их носители говорили и думали об одном.

В иной ситуации странно заговорить о погибших и выживших родственниках, но сейчас хотелось вспоминать только об этом. Возникало ощущение, что ты здесь не только за себя, но и за тех, кого нет. Казалось, достаточно назвать имя, и этот человек появляется. Пусть его не различить среди сотен спин и затылков, но он где-то тут.

Я рассказал своим спутникам о Марии Рольникайте. Ведь если была она, то должен быть этот марш. Да и моей книги о Блинове не было бы, если бы не ее присутствие где-то рядом.

Детство Марии Григорьевны — это два немецких концлагеря. Плюс ощущение, сформулированное в названии ее книги: «Я должна рассказать». Мысль о том, что она живет в истории, пришла к ней в том возрасте, когда сверстницы наряжают кукол.

Кое-что этому предшествовало. Желание зафиксировать появилось у нее одновременно с тем, как она научилась читать и писать. Лет в десять на одесском базаре ее так увлекли разговоры, что она решила их записывать. Эти тексты на небольших карточках стали первым ее свидетельством.

Поэтому в лагере Мария Григорьевна сразу знала, что делать. С тех пор она жила общей со всеми жизнью, но ракурс был немного другой. Все же пишущий видит ситуацию немного со стороны.

После окончания войны Рольникайте тоже старалась для будущего. Казалось бы, кому нужны тряпичные желтые звезды, пропуска в гетто, приказы немецкого командования, разбросанные в перевернутой вверх дном бывшей вильнюсской комендатуре? Она не устрашилась и все это собрала. Так возник ее домашний «музей».

«Музей» — это что-то вроде детского альбома для рисования. Сюда Мария Григорьевна вклеила все, что попало к ней в руки. Ты перелистывал страницы, а она комментировала. Объясняла, что надо сделать для того, чтобы выжить в аду.

Больше всего поражало спокойствие. Будто все это произошло не с ней, а с кем-то другим. Так что название «музей» не случайно. Ведь музей — это место, где даже боль и страдание могут стать экспонатами.

Только однажды она не выдержала. Как-то мы беседовали по телефону. Сперва обсуждали что-то не столь важное. Вдруг я услышал: «Вы когда-нибудь жили среди мертвых?» — и трубка сразу стала горячей.

Мать и брата Марии Григорьевны уничтожили в газовой камере. С тех пор ее преследовал один страх, и в том разговоре она в нем призналась. Поэтому в петербургском крематории, где мы с ней прощались, я сразу вспомнил ее слова:

— Меня только не в крематории!

...Так мы двигались дорогой ужаса и безумия. Кто-то вытирал слезы, другие сосредоточенно смотрели перед собой, третьи изо всех сил сохраняли спокойствие... Вокруг шумел и спешил Киев, а мы были не с этой колонной, а с той, что шла по этой дороге в октябре сорок первого года.

Марш не только возвращал в прошлое, но его преодолевал. Особенно остро мы это ощутили тогда, когда пришли в Бабий Яр и встали вокруг огромной меноры. Житомирский раввин Шломо Вильгельм, чуть покачиваясь, прочел «Кадиш». Акция завершалась точкой — нет, все-таки запятой! — ведь молитва побеждает мрак и дает силы жить дальше.

Опять Житомир

В Житомире мне показали строящуюся синагогу. Она не только возникала на месте старой, но вроде как включала ее в себя — в современное здание были вмонтированы фрагменты прежнего фасада.

Когда-то на стене синагоги висела мемориальная доска памяти студента Блинова. Доска не сохранилась, да и от интерьеров не осталось ничего. Только старые кирпичи подтверждали, что все было именно так.

Еще о поступке Блинова рассказывает тот район Житомира, где до революции селились евреи. До войны здесь разговаривали на идиш, а сейчас от тех лет осталась только улица Шолом-Алейхема. Да еще «пер. Ш. Алейхема» — именно так обозначен адрес на одном из домов.

Улыбнулись? Думаю, великий писатель не в обиде. Он ценил все, в чем слышна интонация — ведь это через нее проявляется единственность и неповторимость.

Вот, кстати, повод вспомнить мысль Шолом-Алейхема. Как это он писал? «Человек подобен столюру: столляр живет, живет и умирает, и человек тоже...» Значит, столляр вроде как больше человека. Он не только ходит, ест, разговаривает, но делает нечто важное. Такое, что не умрет вместе с ним.

От этой фразы проще перейти к тому, как на другой день мы открывали доску на месте Колиной гибели. Опять пришло много детей. Для тех, кто участвовал в марше, это был еще один урок. Им предстояло узнать, что бывает не только так, как в сорок первом, но и так, как в пятом. Многие тогда поняли, что зло не настолько монолитно, как казалось прежде.

В этот день я несколько раз проходил мимо доски. Каждый раз повторялась одна картина. Люди шли по своим делам, но, увидев, останавливались. Читали, удивлялись. Понимали, что произошло нечто важное. Не только тогда, более ста лет назад, но и сейчас.

Опять вернемся к частному человеку. Сколько он претерпел от разного рода писателей и философов! Вот, мол, живет обыватель в своей норе. Если оторвется от телевизора, то по хозяйственной надобности. Так и курсирует по маршруту — дом-работа-магазин. Может, еще в праздник сходит в кафе.

Не так давно мы говорили о том, что чаще всего памятники посвящены прошлому, а Татлин создал памятник будущему. В Киеве я видел памятник превращению огня в пепел или мелодии в тишину. При входе на станцию метро «Площадь Независимости» стоит пианино. «Лицом» оно повернуто к стене, а к нам «спиной».

Это не просто музыкальный инструмент, но инструмент «с историей». Можно сказать, участник и ветеран. В четырнадцатом году, во время майдана, кто-то его сюда притащил. Все же людям требуются не только вода и еда. Уж если не уходить с площади, то под речи ораторов, а еще под Моцарта и Шопена.

Поэтому наш ветеран стар и дряхл. Что только ему не довелось пережить! Сейчас он полностью погрузился в себя. Совсем недоступен для каких-либо контактов.

У частного человека тоже бывают разные периоды. Порой он существует наособицу, и тогда жизнь проходит мимо. А случается, вроде как не участвует, а на самом деле накапливает. Наконец понимает, что частный — это тот, кто представляет целое. С этих пор его судьба начинает меняться.

Взять хотя бы Блинова. Казалось бы, он обречен на долгую жизнь на тихой инженерной должности. Так нет же, потянуло вмешаться, и Коля вышел против толпы. Знал, что погибнет, но не мог поступить иначе.

Евгения Городецкого странно сравнивать с Колей. Что угрожает благополучному немецкому бизнесмену? Если все же что-то случится, то для этого есть охранник Ваня, постоянно маячащий за его спиной.

Вместе с тем Городецкий сполна выполнил долг частного человека. Десятки людей при должностях не справились, а у него получилось. Наверное, ему мало того, что дает бизнес. Хочется чего-то такого, на чем нельзя заработать ничего, кроме репутации.

К Городецкому следует присоединить его родителей. Они не уехали из Житомира и помогают сыну в его здешних делах. Все же он больше в Германии, а они в непосредственной близости от тех инстанций, с которыми надо вести переговоры.

Я даже больше скажу — думаю, все, что делает Городецкий, обращено к матери и отцу. Конечно, к человечеству тоже, но прежде всего к ним.

Представьте лестницу. Большая ее часть погружена во тьму, а один участок освещен. На одной ступеньке — дедушка с бабушкой, на другой — родители, а на третьей — вы... Кажется, Городецкий исходит из этой последовательности. Его акции подтверждают, что жизнь не ограничена настоящим временем. Она, жизнь, имеет длинные корни — для того, чтобы на них опираться и из них вырастать.

Напоследок опять вспомним шарманку. Она говорит о многом, но все же не обо всем. Есть что-то, кроме той несложной логики, которую предлагают один и другой поворот ручки.

Редко такое случается, но, как видите, бывает. В такие моменты кажется, что жизнь обрела объем. Начинаешь угадывать не только близкие, но и далекие цели. Те самые, что и делают нас людьми.

Что такое «я»?

Разные люди демонстрируют право поступать так, а не иначе. Это может быть скульптор, который заставил двигаться свои работы. И другой скульптор, которому наскучила привычная мебель, и он создал самые удивительные на свете стулья и столы.

Не так просто приходит понимание, как жить. Конечно, судьба — шарманка, но есть еще предрасположенность. Не зря в детском саду Эд лепил из хлеба. Да и его упорство не случайно. Он вроде как сообщал окружающим: да, творю и буду творить!

А вот еще пример. Тут не только смелый взгляд и развернутые плечи. Соответствующий документ подтверждает, что податель сего — человек с именем и фамилией, а значит, с собственным «я».

Этот человек — моя мама. В кармашке чужого перешитого платья (вот и все ее наследство!) лежали визитки. Да, все как положено: шрифт затейливый, картон твердый... Размер сильно меньше обычного, но и хозяйке этих карточек каких-то пять или шесть лет.

Так постарался мой дедушка, мамин отец. Вскоре его убьют на фронте, и это, пожалуй, единственное о нем свидетельство. Еще где-то на антресолях лежат его фрак и цилиндр.

Видно, до революции дедушка был денди, а потом стало не до того. С «корабля современности» сбрасывали грузы куда более ценные. Тем удивительней, что вещи сохранились. Как мы радовались, когда их нашли! Жаль, случилось это поздно. К седьмому классу я так подрос, что фрак и цилиндр оказались малы.

Представляю, как доставалось дедушке за его рост. Предположим, построение роты, а он последний. Ну а если тащить что-то тяжелое! Наверняка рядом находился кто-то, кого это забавляло.

Пока он живет мирной жизнью. Просит сделать дочке визитки. Работает заместителем директора ленинградской типографии Детгиз. Здесь, под его руководством, печатались «Чиж» и «Еж».

Кажется, визитки — это тот же стиль. Авторы журналов учили не ходить строем. Даже одевались не так, как другие. Если существовал выбор между брюками и бриджами, сигаретой и трубкой, они всегда предпочитали второе.

Визитки тоже противостояли миру победившего коллективизма. Как это Хармс говорил? «Извините, мне тут надо полежать». Смысл этой акции заключался в единственности. На улице все шли, стояли или сидели, а только он делал так.

Хотя карточки — не листовки, но и не то чтобы нечто разрешенное. В тридцатые годы их считали принадлежностью буржуазного прошлого. Единственные, кто имел право ими пользоваться, были дипломаты, что специально отмечено в Большой Советской энциклопедии.

Казалось бы, визитка — чуть больше букашки, а какое впечатление! Вот человек при должности спрашивает: «Ты кто?», и мама протягивает картонку. Он, такой круглолицый и крутобокий, прямо теряется. Всякое случалось в его жизни, но это впервые. Неужто опять вернулись церемонии и каждый будет предъявлять свои права?

Вот такой урок. Причем — от кого? Совсем юное существо объясняет, что она не спица в колеснице, не одна из множества, а самостоятельная фигура.

Вскоре стало не до визиток. Какие могут быть фантазии, если идет война? Впрочем, карточка только повод, а дальше начинаются взгляд и жест. Тому, кто этим обладает, легче пережить блокаду.

В блокаду мама жила одна в огромной коммунальной квартире: родители ушли на фронт, соседи умерли или тоже воевали. Выйти в коридор было все равно что на улицу. Боязно, что темно, но еще страшней потому, что тихо. Трудно себя уговорить, что в тишине не таится угроза.

Хорошо, в комнате стоял большой письменный стол. Между его тумбами ночью можно спать, а днем готовить уроки. Иногда стол превращается в бомбоубежище — мама верила, что когда упадет бомба, он ее защитит.

Теперь вновь окажемся на кухне «Шарманки» (за стеной живут своей жизнью кинематы) и прислушаемся. Таня размышляет о том, что мы — дети случайно не погибших. А ведь так и есть! Вспомните судьбу предков и убедитесь, что каждому предшествовало чудесное спасение.

Да и как могло быть иначе — при таком количестве войн и революций! Видно, кто-то заботился о том, чтобы линия рода не прерывалась.

Вот история Эда. Его дед был небогат, но все же обзавелся магазинчиком в Николаеве. Ну и пятеро детей — это тоже капитал.

В Гражданскую всей семьей пробирались в Румынию. Остановились переночевать на границе. Глава семьи пошел «до ветра» и услышал, как проводник и хозяин избы сговариваются их убить.

Он всех разбудил, и они пробрались в Тирасполь. Тут на равных хозяйничали Котовский, голод и смерть. Все было очень непросто, но им удалось спастись.

Дальше пути лежали в разные стороны. Брат Володя попал в Палестину, мать Эда — в Ленинград... Так образуется «паутина жизни», создаются пересечения и пробелы. Ниточка натягивается и чуть ли не рвется, но тянется дальше.

Значит, не случайно мы сидим на этой кухне. Для этого постарались родные Эда и Тани. Да и моя мама поучаствовала. Не знаю, помог ли ей письменный стол, но уверенность в своих силах пригодилась. Как это ни называй — пушкинским «самостоянием» или мандельштамовским «ощущением личной значимости», — тут и есть основа всего.

«Я — глава рода», «Я — Олечка», «Я — автор движущихся скульптор», «Я — создатель самых необычных в мире стульев» — это ведь о том, как осознаешь свое отличие. Понимаешь, что только ради этого следует жить.

Присоединим к этим примерам женщину на вершине «Миллениума». Ее жест тоже может быть прочитан как демонстрация своего «я». Ведь если она так не сделает, то кто это сделает за нее?

ВТОРОЙ ЭПИЛОГ

В октябре 2018 года я шел по Киеву — такому просторному и неожиданному в каждом своем повороте — и вдруг вижу, что заблудился. Спрашиваю прохожего, как пройти туда-то. Он объясняет, а потом интересуется:

— А вы сами-то откуда?

— Из Петербурга, — говорю я.

Что тут с ним произошло! Он немного отошел в сторону, словно картина, которая была перед ним, не вмещалась в его зрение. Когда я наконец занял положенное место в его зрачке, он спросил:

— Можно я вас обниму?

Честно сказать, такое у меня впервые. Никогда не обнимался с прохожими. Но сейчас мы были вроде как Киев и вроде как Петербург. Уж эти-то города точно не безразличны друг другу.

Мы не сразу расцепились и так стояли еще пару секунд. Затем расстались навсегда. Что это было? Может быть, у него что-то связано с нашим городом, и через меня он свой «месседж» передавал.

Очень похожи отношения между героями этой повести. Многие из них не знают друг о друге, но без каждого картина останется незавершенной. Так и представляю, что здесь Эд делает кинематы, а там мы идем к Бабьему Яру.

Помните, что сказал Тим Стэд, наблюдая за процессом переливания крови: «Вот мы и породнились, / Но при этом не познакомились». Кажется, деревянный мастер понял главное. Участников сообщества (в том числе и того, что образует текст) соединяют не причинно-следственные связи, а что-то вроде принципа дополнительности.

Похоже строятся контакты читателя с персонажами. В Дании у вас есть друг Гамлет, а в Германии Фауст. Случается, в поле зрения возникнет современник. Если, к примеру, вы дочитали до этой страницы, то кто-то из героев вас заинтересовал. Возможно, вам любопытно: а что произошло дальше?

Окинем взглядом расстояние от Петербурга до Глазго, от Нью-Йорка до Киева и убедимся, что перемен немного. Сколько было волнений вокруг владений Стэдов, а все по-прежнему. Надеюсь, так будет не всегда. Кому-то очень захочется, и жизнь в доме возобновится.

И у Берсудского без изменений. Проблемы с давлением — не в счет. На вопрос о планах Эд отвечает, что стал орнитологом и изучает сексуальную жизнь воробьев. Такое у него философское настроение. Думаю, еще недолго, и он опять удивит мир.

В последние месяцы Сережа Жаковский находился в разъездах, а потому не появлялся в этой повести. Сейчас Таня передала сыну свои обязанности, и он теперь в «Шарманке» «за главного». Зато у нее стало больше времени для сада. А там дел не впрокорот! Что ни день, то какие-то проблемы у подшефных крокусов и гладиолусов.

Конечно, это не в ущерб сайту памяти Юрского. По ее требованию из Питера, Москвы и Иерусалима приходят новые материалы. Мне она тоже дала пару заданий, и я вскоре этим займусь.

Теперь очередь Городецкого. Кажется, я не сказал, что он большой человек во всех смыслах. Немалого веса. Поэтому следующая его акция обращена не на других, а на себя.

В латвийском санатории его обещали сделать «доцентом» или, вернее, «доцент-нером». Придется выпить много кефира, но это того стоит. Когда он перейдет черту в сто килограмм, жизнь станет веселее. Легче будет заниматься бизнесом и организовывать марши.

Что касается моего приятеля из Нью-Йорка, то он тоже не сидит без дела. Не знаю, что у него с бизнесом, но выяснять отношения с ленинградской жизнью он будет всегда.

Ну и, наконец, я, автор этого сочинения. Уже то неплохо, что наше путешествие подходит к концу. О чем думаешь, заканчивая работу? Почему-то вспоминается презентация книги Юрского в музее-квартире Пушкина на Мойке в марте 2001 года. Кстати, книга называлась «Эжен Ионеско в русской версии Сергея Юрского» и еще раз подтверждала, что для этого актера и режиссера не существует границ. Он не только пишет стихи и прозу, но и переводит.

Сперва Юрский читал — играл — свой мемуар о Венеции и Бродском. Затем было нечто вроде чествования — презентация совпала с его днем рождения. Представьте, на сцену выходит хор областного университета. Тридцать или сорок почти одинаковых барышень выстраиваются в несколько рядов.

Видно, Сергей Юрьевич почувствовал опасность. А вдруг будет величальная? Как мы помним, пафоса он избегал. Даже перейти на «ты» пытался без церемоний. Вернее, все сделал, как полагается, но тут же снизил торжественность момента.

Только барышни изготовились следовать за рукой дирижера, а Юрский уже рассказывал о том, как в студенчестве ездил с таким хором в Эстонию. Все пели, он объявлял. Вот и сейчас Сергей Юрьевич вытянулся в струнку и произнес голосом равно нейтральным, сколь и заинтересованным:

— Хор Санкт-Петербургского областного университета имени Пушкина...

Что всегда умел Юрский, так это внести смысл. В считанные минуты настоящее стало прошлым. Не прошлым вообще, а его личным воспоминанием. Участвовавшие в воспоминании девушки действительно пели величальную, но это уже было неважно.

Еще мне приходит на память одна фотография — в феврале семьдесят седьмого года Юрский выступает в ленинградском Доме писателя на вечере памяти Зощенко. Народ сидит, стоит, висит на люстрах. Из окошка в комнате звукорежиссера на хорах выглядывает голова известного литератора.

В одну из наших более поздних встреч я попросил Сергея Юрьевича что-нибудь на этом фото написать. «Давно это было, — написал он, — но ведь было же!»

Это фото долго стояло у меня в шкафу, пока я не заметил, что буквы стираются. В конце концов они пропали совсем. Как видно, фломастер, который я дал Юрскому, был не рассчитан на долгую жизнь.

Впрочем, своей надписью он все сказал и про это фото с исчезнувшими буквами, и вообще про все, что с нами случилось за наш некороткий век: «Давно это было, но ведь было же!»